



Павел
НИЛИН

ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ

Русская проза

Русская проза (Вече)

Павел Нилин

Впервые замужем (сборник)

«ВЕЧЕ»

1977

Нилин П. Ф.

Впервые замужем (сборник) / П. Ф. Нилин — «ВЕЧЕ»,
1977 — (Русская проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7371-5

Как и все другие произведения Павла Филипповича Нилина (1908–1981) – автора замечательных повестей «Жестокость» и «Испытательный срок», рассказы эти отличает яркость и глубина характеров, образный, полный юмора и живых интонаций язык. Многие из них, в частности «Впервые замужем» (в главных ролях: Евгения Глушенко, Валентина Теличкина, Игорь Старыгин; режиссер Иосиф Хейфиц), были экранизированы.

ISBN 978-5-4484-7371-5

© Нилин П. Ф., 1977

© ВЕЧЕ, 1977

Содержание

Варя Лугина и ее первый муж	5
Ближайший родственник	31
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Павел Нилин

Впервые замужем (сборник)

Варя Лугина и ее первый муж

1

В барабанщики обычно выбирают мальчиков.

Но Варя Лугина запротестовала. Она кричала, что это зажим.

И добилась своего – ее избрали в барабанщики.

Она ходила впереди отряда, закинув белокурую голову, гордая, самостоятельная девочка в коротком платьице.

Из-под платьица ее выглядывали загорелые, коричневые коленки в синих ссадинах и царапинах. Она ни в чем не уступала ребятам.

Зимой она каталась на коньках, командовала построшкой крепостей из снега. А летом плавала, лазала по крышам и даже играла в футбол с мальчишками.

Но в двадцать седьмом году, когда исполнилось ей двенадцать лет, она упала с качелей и сломала бедро.

Она вышла из больницы на костылях, похудевшая, бледная, угрюмая.

На Усачевке жалели ее:

– Командирша вышла в отставку.

Варя Лугина говорила:

– Посмотрим...

И когда можно было бросить костыли, она опять стала бегать. Она бегала теперь, припадая на левую ногу. Боли она не чувствовала и не хотела чувствовать себя калеккой.

Она по-прежнему лазала по крышам, барабанила на пионерских сборах и старалась даже вернуть свое первенство по конькам. Она была решительная девочка.

И такой решительной она осталась на всю жизнь.

В семнадцать лет она выглядит как двадцатилетняя. У нее зеленые задумчивые глаза, белокурые косы, уложенные вокруг головы, очень стройная, крепкая фигура. Она по-прежнему чуть-чуть припадает на левую ногу.

Но это не так уж заметно теперь: она носит сапожки или туфли на высоких каблуках и в одну туфлю, в левую, подкладывает толстый подпятник.

В городе, на заводе, это, может быть, и следует делать. А в Сочи, на отдыхе, зачем же подпятник? Варя Лугина, приехав на отдых, сразу спрятала модные туфли в чемодан, надела шлепанцы и в синей майке, перекинув полотенце через плечо, пошла к морю.

Доктор встретил ее в кипарисовой аллее. Это был добрый пожилой доктор, из тех, что любят свою профессию. Он, прищурившись, посмотрел на девушку и участливо спросил:

– Это что же у вас такое... с ногой?

Варя Лугина покраснела.

– Ничего, – сказала она. – Пустяки. Это с детства...

– Вы бы все-таки зашли ко мне. Пустяки, пустяки, а может быть, вам и купаться нельзя...

Она зашла. Он внимательно осмотрел ее, выслушал сердце, легкие. Потом осторожно ощупал живот, ноги, особенно долго ощупывал левую ногу и наконец грустно покачал седеющей головой.

– Н-да, молодая леди... – сказал он после некоторого раздумья... – Купаться вам, конечно, можно. Купайтесь на здоровье. А вот это... как бы сказать... деток рожать вам, по моему, будет очень трудно. Да...

Варя удивленно посмотрела на доктора. При чем тут дети? Ведь она не спрашивала его, можно ли ей рожать!

Вероятно, он принял ее за кого-то другого, все перепутал. Она готова была улыбнуться.

Но доктор, приподняв очки, изучающе посмотрел ей в глаза и молвил медленно, как бы намеренно растягивая слова:

– Видите ли, какая история. Из-за бедра у вас значительно искривлены и позвоночник, и вся область таза. – И, может быть, боясь, что девушка не поверит ему или еще, чего доброго, обидится, добавил: – Это, в сущности, не мое дело. Я здесь по общему наблюдению. Но я к тому же и гинеколог. Я понимаю...

Доктору, видимо, было нечего делать. В доме отдыха в большинстве жили здоровые люди, не нуждавшиеся в его помощи. И сейчас, пользуясь свободным временем и возможностью обнаружить знания, он с явным удовольствием и с особой стариковской обстоятельностью прочитал девушке пространную лекцию и о строении человеческого тела, и о деторождении, и о многом другом, что совсем не входило в его скромные обязанности курортного врача.

Варя теперь стояла перед ним растерянная, подавленная.

Никогда раньше она не думала по-настоящему ни о замужестве, ни о материнстве. Для нее это были далекие понятия, к ней не имевшие пока никакого отношения.

Ведь она даже не влюблялась ни разу, если не считать, что в школе была влюблена в учителя рисования – в длинные волосы его была влюблена и в белый галстук, завязанный пышным бантом. Но это было давно, в детстве, лет восемь назад. И любовь эта, детская, естественно, не предполагала ни замужества, ни материнства.

О материнстве она серьезно подумала только сейчас, встревоженная скучным шумом докторских слов. Значит, матерью она не может быть. Значит, у нее никогда не будет детей.

Вообще-то говоря, в этом нет ничего страшного. Ведь живут же на свете женщины, не способные стать матерями.

Но Варю такая мысль не могла успокоить. Не важно, станет ли она когда-нибудь матерью или нет. Важно чувствовать, что она может стать матерью.

Варя спросила робко:

– Неужели так навсегда? – И голос ее дрогнул.

– Операция, – сказал доктор, зажимая в зубах папиросу. – Я не скажу, что это будет легкая операция. Но только оперативным путем можно обеспечить вам деторождение. Вернуть, так сказать, эту способность. Впрочем, надо посоветоваться и с другими врачами...

На этом неожиданная лекция была окончена.

После лекции Варя пошла купаться. Но и купанье не могло прогнать плохого настроения. Настроение все ухудшалось.

Варя впервые и как-то особенно остро ощутила свое тело, кости, мышцы, которых раньше почти не замечала, не чувствовала, как, впрочем, не чувствуют их все здоровые люди. Она прислушивалась теперь к биению своего сердца, и ей казалось, что сердце у нее работает неправильно, бьется уж слишком учащенно.

Для нее всегда было привычно сознание, что она не хуже людей, что она – как все, что она здорова, нормальна, обыкновенна, и это сознание сближало ее с людьми, делало равными ее им и их ей.

И вот доктор поколебал это сознание.

Варя бродила по шоссе, сидела на вросшем в землю камне, лежала на желтой, спаленной солнцем траве, смотрела в небо и чувствовала себя одинокой.

А мимо проходили люди, проезжали по шоссе скрипучие арбы, шуршали шинами нарядные автомобили.

На волейбольной площадке, подбрасывая мяч, весело шумели парни, девушки.

Варя видела их из своего уединенного местечка, завидовала, но подойти к ним почему-то не решалась. Не могла себя заставить подойти.

В последующие дни она намеренно опаздывала и к завтраку, и к обеду, и к ужину, чтобы сидеть за столом одной. И отдыхающие составили о ней неправильное мнение, считая ее гордячкой, и сами стали обходить ее.

Варя заметила это, и настроение ее еще больше ухудшилось.

Наконец, на четвертый день, расстроившись окончательно, она собрала свои вещи, купила билет и поехала домой, в Москву. Отдохнуть не удалось.

Печальная, она лежала на второй полке вагона, смотрела в окно на море. И море наполняло ее еще большей печалью.

Под головой у нее увядали магнолии, распространяя удушливый, печальный запах.

Она лежала на второй полке, а напротив нее, тоже на второй полке, поместилась некрасивая, старая женщина. И Варя завидовала некрасивой женщине, не лишенной, вероятно, этой самой «способности», о которой говорил доктор.

– Простите, – сказала Варя, не узнавая собственного голоса, – простите, у вас были дети?

В вагонах вначале обычно спрашивают у незнакомых людей: «Далеко ли едете?», «Сколько времени?», «Не знаете ли, где тут будут торговать молоком?», «Нет ли у вас чайника?» Или говорят вдруг, вытирая шею носовым платком: «Жара-то какая... А? Дождик, наверно, будет...» А потом уже переходят к другим вопросам. Говорят о чем хочется.

Варя нарушила этот старинный порядок. Она заговорила о детях. И соседка охотно ответила:

– Дети – это вещь нехитрая. У меня их восемь было. Шесть живы, два померли. Ну, и уж этого я не говорю. То есть аборт...

– И аборт тоже были?

– Ну а как же? В семейной жизни, дорогая моя, все бывает...

Женщина оказалась разговорчивой. Варя еще спросила:

– А не страшно... аборт?

– А чего же страшного? Неприятность, конечно. Все нутро как будто вынимают. Кричать другой раз приходится...

Варя замолчала. Опытная соседка осмотрела ее всю, как покупку, и в глазах ее, заспанных, мутных, блеснула ирония.

– Да вы чего, – спросила она, – с курорта, что ли, едете?

– Да. В доме отдыха была...

– А-а, – сказала соседка понимающе. И, помолчав, нравоучительно молвила: – Пугаться здесь в общем не приходится. У всякой женщины такое дело может выйти. Ему-то что! Он ушел – и все. А тебе беспокойство.

В другое время такое предположение оскорбило бы Варю. А сейчас ей даже приятно было, что соседка считает ее «способной».

Варя неопределенно сказала:

– Это верно, с одной стороны...

И отвернулась к стенке.

Искупалась в Москве-реке, позавтракала. И, сказав матери, что едет по делам, пошла в амбулаторию, к хирургу.

На другой день она уже лежала в клинике.

Первая операция прошла неудачно. Ей сделали вторую. Потом третью, четвертую. Операции были не из легких. Один раз она пролежала под наркозом около двух часов. В последний раз ее оперировали почти без наркоза. Это было особенно мучительно.

Варя в кровь искусала губы. Она не кричала. Она только морщилась и вздыхала. И профессор сказал:

– Вот это девушка. Это я понимаю.

Она пролежала в клинике весь свой отпуск и еще два месяца.

Под окнами проходила осень, шелестя бумажными листьями.

Больную навещали мать, и отчим Семен Дементыч, и товарищи по работе.

Никто не знал, чем больна Варя, какие и зачем ей сделаны операции. Да и не многие, пожалуй, узнав об этом в подробностях, нашли бы ее поступок нормальным. Хотя и осуждать ее было не за что. Она так хотела. Она добивалась чего-то. И вот добровольно обрекла себя на муки.

Впрочем, люди, навещавшие ее, даже родственники, не подозревали и об этих муках. Они просто сочувствовали Варе, как всегда сочувствуют или должны сочувствовать здоровые больным, – приносили ей конфеты, яблоки.

Добряков приносил цветы:

– Я, понимаешь, сильно волнуюсь, Варя.

– Ты чудак, – говорила она. – Ну чего же тут волноваться? Я скоро поправлюсь. Еще одна небольшая операция – и я поправлюсь...

– Давно бы уж пора, Варя, – вздыхал Добряков.

– Тебе, может, надоело навещать меня?

– Ну для чего этот разговор, Варя? Я, напротив, с удовольствием, Варя...

Раньше он говорил ей «Лугина», а теперь «Варя».

Должно быть, он считал неудобным называть ее, больную, по фамилии. И Варя действительно не походила теперь на Лугину, на такую немножко озорную, немножко заносчивую девушку.

Насмешливый огонек, всегда чуть заметно теплившийся в зеленых ее глазах, теперь погас. Она не хмурила больше длинных бровей и не смотрела исподлобья. Лежала кроткая, исхудавшая, укрытая белым и в белом этом одеянии очень красивая.

Добряков приходил к ней чисто выбритый, нарядный, каждый раз в новом галстуке, и неожиданно от него пахло духами. Он сообщал:

– Вышла новая книга. Автора я тебе сейчас не скажу. Я авторов никогда не помню. Очень интересная книга. Хочешь, я тебе принесу?..

– Какой у вас интересный супруг! – сказала про Добрякова соседка по палате. – И какой заботливый! На редкость.

– Он мне не супруг, – сказала Варя. – Он мне товарищ.

И ей было смешно представить его в роли своего супруга. Слово-то какое смешное: супруг!

Добряков приходил к Варе в клинику в самом деле как к товарищу по работе. Он и к парню, наверное, так же приходил бы. Цветов не носил бы, наверное. Но книги носил бы обязательно.

– Знаешь, Варя, я забыл тебе в прошлый раз сказать: Володьку-то Бисюгина сняли, – сообщил однажды Добряков.

Володька Бисюгин – это тот самый парень, который работал пока, вместо Вари, секретарем цеховой комсомольской ячейки. Он был кандидатом партии, Бисюгин. Его исключили из партии.

– За что?

– Ну это... вообще-то... не для больницы разговор, – покосился на соседок по палате Добряков. – Но вообще-то тебе надо поправляться, Варя. На заводе тебя все вспоминают. Жалеют, что ты лежишь. Жарков прямо рвет и мечет...

Добряков ушел. Пришел доктор.

– Ну, Лугина, скоро мы вас выпустим. Еще одна небольшая операция – и вы свободны...

– Нет, – сказала Варя, – не надо, доктор. Я и так уж залежалась. Я хочу выписаться...

Но все-таки ей пришлось пролежать в клинике еще целый месяц.

3

По заводу Варя Лугина ходила несколько дней, опираясь на палочку.

А потом опять стала бегать, будто это не она перенесла четыре серьезные операции и больше трех месяцев пролежала в больнице.

Она опять была секретарем цеховой комсомольской ячейки. И комсомольский группорг Добряков называл ее по-прежнему «Лугина».

Но однажды, в середине дня, он подошел к ней, немного сконфуженный, и сказал:

– Понимаешь, какое дело... У меня два билета к Вахтангову. Я хотел с одним парнем пойти. Он болен. Ты не пойдешь, Лугина?

Она деловито спросила:

– Деньги тебе когда отдавать за билет – сейчас или в получку?

– Да не надо мне, – сказал Добряков, покраснев. – Что я, торгую?

– Ну, а так я не пойду. Я тебе не барышня. Ты и в больницу мне сколько цветов перетаскал...

– Брось, брось! – сказал Добряков и покраснел еще сильнее.

Варя сказала:

– Ну ладно, пойдем. Чудак ты, ей-богу, Добряков.

И вот так всегда – она относилась к нему слегка покровительственно, слегка насмешливо. Впрочем, она со всеми такая. И глаза у нее насмешливые.

Добрякову не нравился этот тон. Но девушка ему нравилась. Он не обиделся бы, если бы сказали, что она умнее его, способнее. «Да, – сказал бы он про себя, – это верно».

Но только про себя. Публично признать это он не решился бы. Это оскорбительно для него.

Хотя Варю он любил именно за это. За то, что у нее есть какие-то качества, которых он сам лишен. Ему нравилась этакая ее напористость, самостоятельность. И даже насмешливость ее нравилась.

Не нравилось только, что она насмешливо относится и к нему. Но что делать?

Пригласив ее однажды в театр, он стал частенько приглашать ее в цирк, в кино. И она ходила с ним. Но не разрешала брать ее под руку.

– Я тебе не барышня.

И так прошла зима.

Весной они часто вместе катались на пароходе по Москве-реке. Иногда бродили по Ленинским горам.

Это было, как в детстве, увлекательно и немножко страшно. Они забирались в самые таинственные уголки, где трава еще не измята дачниками. Они первые мяли эту первую весеннюю траву, бегали, лежали под деревьями, подстелив газеты.

Добряков вот так, лежа под деревом и задумчиво глядя в небо, однажды сказал:

– Знаешь, Лугина... Я тебя даже во сне другой раз вижу.

Варя сказала без восторга и почти грустно:

– Я тебя тоже, Добряков. Ты хороший. Или я ошибаюсь...

И, грустная, она погладила его по голове, потом по лицу.

Добряков не шевелился. Он лежал как оглушенный, чуть наклонившись к девушке. А когда она перестала его гладить, он сказал:

– Знаешь, Варя, это место, где мы сейчас находимся, очень историческое. Здесь, говорят, Наполеон стоял, на Москву смотрел...

– Пусть, – сказала Варя с безразличием, которое могло бы оскорбить Добрякова.

Но он не оскорбился. Забыл о Наполеоне тотчас же.

Неожиданно он вскочил на ноги и закричал:

– Знаешь, Варя, что сделаем?

Варя испуганно посмотрела на него.

Не придумав ничего, Добряков наклонился к ее уху и прошептал что-то ласковое тихо-тихо, чтобы не слышал никто, никто...

– Ох, и идиот! – сказала Варя. Но опять погладила его по золотистым волосам, по лицу и притянула к себе.

Добряков все еще не знал, можно ли ему поцеловать Варю. А вдруг обидится?

Она первая поцеловала его.

Стало как-то тепло. Даже жарко стало.

Добряков хотел расстегнуть воротник и в запальчивости необыкновенной оторвал три пуговицы.

Потом Варя аккуратно заколола ему воротник своей английской булавкой. И они пили сидро в маленькой кофейне на пристани.

Варя объяснила, почему она пока против официального брака. Она – секретарь, а он – группорг. В одном цехе. Будут говорить – кумовство. А потом, если даже официально жениться, где же они будут жить, женатые?

– Ведь у тебя отдельной комнаты пока нет? Нет. И у меня нет...

Варя Лугина жила в одной комнате с матерью и отчимом.

Это была большая комната, высокая, светлая, но проходная. Через нее проходили жилыцы всей квартиры.

Жизнь этой комнаты была открыта для всех.

Варин отчим, Семен Дементыч, говорил управдому с обычной своей игривостью:

– Я, как лицо мужского рода, не очень-то стесняюсь. Пожалуйста. Я вроде привык. А для женщин, для семейной жизни, эта площадь кругом неудобная. Ни переодеться, ни другое чего сделать. Я даже так скажу – я под влиянием этой площади в актеры пошел, чтобы лишнее время не сидеть дома. Надо же человеку куда-нибудь деваться.

И это походило на правду.

После работы в гараже, по вечерам, Семен Дементыч уходил в клуб. Виновата ли была неудобная комната или просто в пожилом человеке, в ремонтере автомашин, вспыхнула неутоленная страсть к театральному действию – неизвестно. Но он и впрямь «пошел в актеры» и чуть ли не каждый вечер, до часу ночи, проводил в клубе.

Дома обычно сидела только его жена, Варина мама.

Варя же приходила домой после занятий на курсах, в девять вечера, и сейчас же ложилась спать. Она спала до четырех утра.

А в четыре часа, когда спит еще весь дом, она просыпалась и, пользуясь тишиной, готовилась к следующим занятиям на курсах. Она собиралась поступать в институт.

В эти же предутренние часы она подготавливала задания Добрякову и другим группоргам.

И так они жили – Варя, Варин отчим и мать.

Жизнь эта в проходной комнате не сильно огорчала их. Они спокойно работали, думали, учились и надеялись на лучшее. Ничего не поделаешь. В Москве пока тесно.

Управдом говорил:

– Вы представляете, я сам, собственно говоря, живу в клетушке.

4

В Москве была осень, сухая, безветренная. Хорошая, теплая осень. Варя Лугина шла с Добряковым под руку по парку имени Горького, по свежеопавшим листьям.

Добряков рисовал увлекательную картину. Он теперь уже не группорг. Его перевели в другой цех. Он теперь опять просто токарь, так что Варя может не думать, что их кто-то заподозрит в кумовстве. Они могут жить вместе, тем более что начальник цеха обещал выхлопотать комнату Добрякову.

Это будет большая комната, метров на тридцать, как он думает. Он видел уже эту комнату в новом доме. Если Варя хочет, пусть берет к себе мать и отчима. Они будут жить все вместе. Он одинокий человек, Добряков. Он давно уже живет на койке. А теперь он будет жить в семье.

– Я думаю, Варя, что нам надо зарегистрироваться. Будем жить как люди. Вдруг ребенок...

– Уже, – сказала Варя и опустила глаза. – Я чувствую...

Добряков в одну минуту переменялся. Он стал серьезнее в эту минуту. Добряков поцеловал жену в висок и сказал деловито:

– Только ты не бегай, Варя...

И потом много раз он повторял эту просьбу. Говорил он с нежностью, с еле заметным волнением. Казалось, его нельзя заподозрить ни в чем. Но Варя заподозрила. Она спросила:

– В чем дело? Мне не бегать нельзя. Я работаю. И это мне не вредно. Чего же ты волнуешься?

И Добряков доступно объяснил:

– Я как тебя увижу с чужими парнями, у меня даже сердце как-то не в порядке... Я не могу...

– Какие же они чужие? – наивно сказала Варя. – Они же комсомольцы! Я должна с ними разговаривать.

– Все равно, – сказал Добряков, – я страдаю...

Варя засмеялась.

Она не могла привыкнуть не смеяться над мужем. Она всегда смеялась. Правда, беззлобно, любя.

Но Добрякова эти чуть заметные насмешки раздражали все больше.

Этот смех, казалось ему, разделяет их. Он не чувствует, что жена близка ему, что она под веселую руку не высмеет его когда-нибудь и при посторонних людях.

И если раньше ему нравилась ее самостоятельность, то теперь эта самостоятельность угнетала его.

Добряков сказал однажды:

– Я не чувствую, что я женатый. Я как будто замужем. Ты не слушаешь меня.

– А что слушать? Говори – буду слушать...

Она опять смеялась. А он все мрачнел. И мрачно сказал:

– Я же тебе говорю – не бегай. Не разговаривай с другими парнями...

– Да ты что, с ума сошел, что ли? Я работать должна...

– А я говорю – не надо. Можно и не работать в крайнем случае. Я и сам хорошо получаю.

– Вот так так! – сказала Варя. – И это называется комсомолец, бывший группорг! Да таких из комсомола надо исключать.

– Исключай! – закричал вдруг Добряков. – А я тебе говорю – не бегай! Я тебе приказываю...

– Вот как? – удивленно протянула Варя. – Да ты, оказывается, строгий муж! Чего доброго, ты бить меня начнешь...

– А ты не выводи из терпения...

Помолчали.

– Ну ладно, – сказала Варя, – брось дурака валять! Что это за новости? Мы с тобой комсомолы, Васюк. Получается, что ты меня ревнуешь...

– Не ревную, – сказал Добряков, – а просто не хочу. Я тебе муж. При чем тут ревность? Этого последнего слова он боялся. Это страшное слово. Это только мещане могут ревновать. А он не мещанин. Он комсомолец. И он просто хочет, чтобы жена любила его так же, как любит он ее.

В новом доме наконец ему дали комнату. Довольно большую. Не тридцать метров, но двадцать четыре. Добряков купил шкаф, тахту и кровать. Надо купить еще стулья.

Варя сказала:

– У тебя больше денег нет. Я вот получу, и купим остальное. Будет все вместе...

Добряков сказал:

– Не надо. Я в кассе взаимопомощи получу...

Вышло это у него немножко грубовато. И он поправился:

– Зачем же, Варя, ты свои деньги будешь тратить? Тебе одеться надо. Я жалею, что не могу тебе сейчас чего-нибудь купить...

Добряков был ласков. Но план у него был неумолимый. Он хотел быть полным хозяином в своей комнате. И говорить по-хозяйски: «Я велел, я велю...»

Этот тон он усвоил сразу же, как жена сказала ему о беременности. Он уже тогда понял, что девушка эта, слегка заносчивая и не в меру гордая, чье внимание заслужить он считал еще недавно недостижимой мечтой, завоевана теперь им окончательно. Он не сказал этого даже самому себе. Но он чувствовал это.

И вот она поднимается по лестнице в его дом, в его комнату. А он стоит в кухне у окна и видит ее. Он очень счастлив сейчас.

Это поднимается по лестнице жена, мать его будущего ребенка, его любимая девушка. Этой девушкой гордится весь завод.

А он, Добряков, ее муж. Он тоже не олух. Он способный человек. Его уважают на заводе. Ему дали комнату. Большую, светлую. Два окна, центральное отопление, газ, ванна. Не всякому дают такие комнаты. А ему дали. Его ценят. Он далеко не олух, Добряков.

Он идет навстречу жене, берет у нее из рук небольшой чемодан, целует ее в лоб, говорит:

– Варя, зачем ты таскаешь такие вещи? Я сам принес бы...

– Ну, я тоже не калека.

– Тебе же нельзя.

Потом он идет на кухню, где стоит на газовой плитке блестящий чайник с плетеной ручкой. Он снимает чайник, несет его в комнату. Они пьют чай.

Зеленый круг от абажура лежит на глянцевином полу. Они пьют чай со сладкими сухарями. Добряков макает сухарь в дымящийся чай.

– Ты знаешь, Варя, я так доволен! Ты скажи матери, пусть переезжают...

– Ладно, – говорит Варя. – Я скажу.

За окнами ночь. Эту ночь они проведут вместе, в новой комнате. Впервые по-настоящему вместе, в своей квартире. Впервые в жизни.

Варя говорит:

– Эх ты, черт, я вторую-то подушку забыла...

– Ничего, – говорит Добряков, – на одной переспим.

И через час их головы лежат на одной подушке – белокурая Варина голова и золотистая добряковская.

Зеленый круг от абажура все еще лежит на глянцевином полу. Добрякову не хочется тушить свет. Он хочет видеть свою комнату, белоснежные ее стены, коричневый лакированный шкаф.

– Я тебя очень люблю, Васюк, – говорит Варя, прижимаясь к мужу. – Я к тебе все больше и больше привыкаю. Ты очень хороший. Я не ошиблась...

Она никогда еще не говорила так. Она беззащитна сейчас, как всякая влюбленная женщина, и такая кроткая, нежная. И Добряков нежный. Нежно он говорит жене:

– Ты только никогда не сердь меня, Вареник. Я очень жестокий, если меня сердят...

– Чем же я тебя сержу?

– Ты знаешь, я не люблю, когда ты с мужчинами...

– Ну, снова эта музыка! – как от боли поморщилась Варя.

Добряков встал, потушил свет. Опять лег.

– Я серьезно говорю, – сказал он, натягивая одеяло. – Я не люблю это. Симаков на тебя смотрит, как кот на сало. Тебе это не заметно, а я вижу. Вы, женщины, вообще ничего не замечаете, а нам, мужчинам, видно. Другой раз хорошая женщина с таким человеком сойдется, что просто жалко. И как она не видит... – Помолчал. – А ты, Варя, с Симаковым не очень. Он так как будто и красавец, а у него дурная болезнь была...

– Неужели? – удивилась Варя. Потом спросила: – А зачем ты мне это говоришь? Я же за Симакова замуж не собираюсь. У меня есть свой... муж.

И впотьмах Добряков не увидел, а только почувствовал, что в глазах жены, затуманенных нежностью, загорелся опять этот каверзный огонек. Осердившись, Добряков сказал:

– А кто вас знает! Некоторые и от мужей бегают...

– Не говори чепухи! Это противно...

– А ты не сердь меня... Я тебе раз навсегда говорю: если я что-нибудь замечу, я не позволю тебе работать...

Варю было трудно рассердить. Она смеялась. Немножко ей нравилось такое пристрастие мужа. Она вспомнила где-то вычитанную фразу: «Ревность – это тень любви; пройдет любовь – пройдет и ревность».

Постепенно, однако, ей начинала надоедать эта тень. Она смеялась уже не так охотно, как прежде. Но все-таки она смеялась. И, смеясь, она спросила:

– А что будет, если я этого приказа не выполню?

– Будет худо...

– А все-таки?

– Допустим, – Добряков приподнялся на подушке. Он был спокоен. Он улыбнулся даже. И непонятно было, шутит он или говорит серьезно. – Допустим, я бросаю тебя. В загсе мы не зарегистрированы. Никто не знает еще, что мы живем вместе. Как узнать, кто отец?

Варя порывисто сбросила одеяло и прыгнула с тахты.

– Я отец! – крикнула она. И зажгла электричество.

В одной сорочке, босая, она сидела на ящике. Зеленый круг от абажура лежал теперь на ее плечах. Она вздрагивала от легкого холода, идущего с глянцевого пола. Она раздумывала о чем-то.

Добряков смотрел на нее.

За окнами была ночь, очень темная перед рассветом.

Варя начала одеваться. Она одевалась быстро, натягивала чулки.

Добряков смотрел на нее и не верил, что она уйдет. Она же беременная.

Но она уже застегивала кофточку и стояла перед зеркалом. Она спокойно приглаживала волосы.

И это спокойствие поразило Добрякова. Он сказал:

– Варя!..

– Что?

– Варя, не делай глупостей. Иди сюда...

– Нет, Добряков, – спокойно сказала она, – я уйду. Я не привыкла жить с дураками.

Пригладив волосы, она взяла со стола шарф, обмотала им шею и начала надевать куртку.

Добряков спросил:

– Варя, неужели ты уйдешь?

– Нет, не уйду! – сказала она насмешливо. – Я буду умолять моего супруга не бросать меня, беременную, на произвол судьбы. Я буду умолять повелителя усыновить моего ребенка. Я буду согревать барахольщика теплом моего сердца...

И вдруг заплакала. Большая светлая слеза выкатилась из левого глаза и поползла по щеке, оставляя влажный след.

Добряков увидел слезу и вскочил с тахты. Он закричал:

– Варя!.. Ну, прости меня, если я виноват! Я же не хотел тебя обидеть. Честное комсомольское...

– Как не стыдно! – сказала Варя, продолжая плакать. Нос ее мгновенно покраснел, и лицо стало некрасивым. – Как не стыдно говорить комсомольское...

– Я же не хотел...

Добряков стоял перед женой, высокий, теплый, растерянный. А она плакала и искала в карманах куртки носовой платок. Потом она сдернула с гвоздика мохнатое полотенце и спрятала в него разгоряченное лицо.

Добряков видел, как вздрагивают ее женские плечи. Он наклонился, обнял ее. Она прижалась к нему. Но только на мгновение прижалась.

Добряков едва не упал, когда она вдруг толкнула его в грудь и вырвалась. Она все-таки уходит.

Добряков говорит:

– Ну давай хоть простимся, как люди...

Он все еще хочет задержать ее, стоит в дверях. Слезы ее высохли. Она в последний раз осматривает комнату: не забыла ли чего?

Она не вырывает руку. Она стоит в дверях и говорит грустно:

– Я не думала, что все так получится...

Похоже, что говорит она это для себя. Она думает вслух. Потом выходит в коридор, где горит электрическая лампочка.

До лестницы Добряков провожает ее молча. Но у лестницы он опять берет ее за руку.

– Варя!.. Ну прости меня. Ну зачем ты делаешь какую-то глупость, собираешься вдруг уходить...

– Здесь холодно, – говорит Варя, – ты раздетый. Простудишься, и я же буду виновата...

И побежала вниз по лестнице.

Добряков побежал за нею. Босому, ему было холодно на каменных ступенях. Но он не чувствовал холода.

Он бежал за нею по мелкому щебню пустыря, где тускло поблескивали под одиноким фонарем ржавые консервные банки, осколки бутылок и бурые строительные камни.

Она остановилась у трамвайной будки и сказала:

– Отстань сейчас же! Я тебе не барышня... Отстань! Кому говорят?

– Я умоляю тебя, Варя, – сказал он. – Трамвай все равно не ходит...

– И не надо, – сказала Варя. И опять заплакала.

Добряков увидел человека, шагающего вдоль забора, и смутился. В то же мгновение он почувствовал холод и побежал обратно. Он дрожал.

А Варя шла по трамвайным путям и плакала почти с наслаждением. Она довольна была, что никто не мешает ей плакать. И в то же время ей хотелось, чтобы кто-нибудь пожалел ее. Она беременная, несчастная. И главное – одинокая.

Всю жизнь она дружила с ребятами. Девчонок никогда не любила. Но ведь ребятам нельзя рассказать всего, что можно рассказать очень близкой подруге.

Добряков был первым, с кем, казалось ей, она могла бы говорить обо всем. Она любила его. И сейчас любит. Она никогда бы не ушла, если б не эта гордость. Ну зачем он сказал: «Я бросаю тебя. Кто отец?»

Вспомнив эти слова, Варя вдруг опять рассердилась. Гнев высушил слезы. Она остановилась, пошарила в карманах, нашла перчатки, надела их и приняла независимый вид.

Она стояла одна у фонаря. Где-то далеко замирали грохоты трамваев. Большой город спал. Она стояла на окраине большого города. К ней подошел молодой дворник, в белом фартуке, с медной бляхой на груди.

– Ожидаете, что ли, кого?

– Ожидая, – сказала она независимо. – Трамвай... А вам что?

– Долго ждать придется, гражданочка. Теперь до утра...

Он молча прошелся раза два мимо Вари. Вынул из кармана папиросы, спички, закурил. Потом опять прошелся. И остановился опять. Не спеша, уважая себя, поправил бляху на груди. Застегнул крючок у ворота и кашлянул деликатно. Он заметно прихорашивался. Рядом с ним стояла хорошенькая девушка, белокурая, задумчивая. Он спросил:

– А далеко, извиняюсь, ехать?

– На Усачевку.

– О! – сказал дворник. – Это на двоих трамваях...

– На двух, – сказала Варя.

И он покорно согласился:

– Правильно, на двух.

Знакомство, таким образом, состоялось.

Помолчав, сколько требовало приличие, дворник, осторожно зондируя почву, пошутил:

– Вас супруг, наверно, заждался на квартире.

– У меня нет супруга.

– Это как же так? – будто удивился дворник. – Вы одинокая, что ли?

– Одинокая, – сказала Варя.

Это слово показалось ей сейчас смешным. Она улыбнулась и пошла в сторону завода. Идти на Усачевку пешком не было смысла. Скоро утро.

А Добряков вбежал в свою комнату и, не счистив грязи с босых ног, залез под одеяло. Зубы его стучали. Он долго отогревался, стараясь унять дрожь во всем теле.

Отогревшись, он заплакал. И плакал сердито, кусая подушку, задыхаясь и всхлипывая. Он тоже чувствовал себя одиноким, как и Варя, бродившая по трамвайным путям.

Наконец его осенила прекрасная мысль. Он оделся, обулся и вышел на улицу. Он вышел с намерением остановить Варю, упросить ее хотя бы на коленях и вернуть в свою комнату. Он прошел по трамвайным путям не меньше километра.

Но Вари нигде не было.

5

На следующую ночь Наталья Кузьминична подошла к кровати мужа, прилегла на краешек подушки и сказала тревожно, толкая мужа в плечо:

– Ты знаешь, Сема, чего творится?

Это было самое подходящее время для душевных разговоров. Но муж спал.

Жена растолкала его и спросила еще раз:

– Ты знаешь, Сема, чего творится?

– Чего?

– Да ты не ори, окаянный! Я тебе серьезное дело говорю: Варюшка-то беременная.

– Ну и слава Богу! – сказал Семен Дементьич. – А я думал, уж не пожар ли в квартире...

– Все насмешки, насмешки! – обидчиво молвила жена. – Она тебе не родная. Тебе и горя мало. А у меня душа-то как болит! Она ведь девица...

– Обе вы с ней девицы, – насмешливо сказал Семен Дементьич. – У нее же есть этот парень. Это же, как я понимаю, ее муж... Хотя тоже, надо сказать, живем как турки в Турции. Ни подарка молодым не сделали, ни свадьбу не сыграли. А парень хороший, видный...

– Бросила она его, Сема.

– Бросила? Чего это вдруг?

– Он дурак оказался. Глупости ей говорит...

– Ну, бросила – значит, правильно, и пес с ним...

– А ребеночек-то как же? Ведь прямо хоть аборт делать... Если б можно было...

– Зачем аборт? – Семен Дементьич вдруг перекинул ноги через жену, сел на кровати и сказал строго: – Я вот вам обоим дам такой аборт, что вы у меня... Ишь абортистки какие выискались!.. Где у меня тут махорка была на столике?

Не зажигая свет, он разыскал махорку и, закуривая, сказал сокрушенно:

– Вот связался я с бабами на старости лет! Уснуть не дадут! Я тебе сколько раз говорил – не буди меня посередь ночи. Я второй раз ни за что не усну...

– Да ты не реви, арестант, Варвару разбудишь! Пятнадцатый год с нами живешь и все привыкнуть не можешь... Я вчера еще хотела тебе про это рассказать. Но Варвара запретила. А сама мучается. Я же вижу, не слепая, как она мучается. И стыдно ей. Перед людьми стыдно. Называется – вышла замуж...

– Не могу, ей-богу, не могу. Чумички какие-то! – вздохнул Семен Дементьич. – Одно слово – чумички. Все чего-нибудь не слава богу...

– У меня душа болит, – сообщила жена. – Ведь несчастье-то какое! Безвыходное несчастье...

– Ужас! – в тон жене сказал Семен Дементьич. – Кошмар просто...

– Опять шуточки! Я ему дело говорю, а он свое. Ты хоть дома-то не выламывай из себя артиста...

Семен Дементьич докурил сигарку, опять лег и, натянув на плечи старенькое одеяло, приказал:

– Слушай...

Жена затихла.

– Ребенка ни в коем случае никуда не девать! Abortов я делать не велю. Ребенок обязан существовать. Будем его нянчить... – И при этих последних словах грубый голос его стал мягче. – Я сам его буду нянчить. Я в детях понимаю. У моей покойницы, ты знаешь, их трое было, и все живые. Я их лично купал.

– А где мы его содержать будем? У нас комната-то какая! Пеленки даже негде сушить...

– Как то есть негде?

– А где?

– У меня на лысине в крайнем случае будем сушить. Я человек горячий...

И, завернувшись в одеяло, он уснул.

6

Добряков работал теперь в другом цехе.

Варя его не видела. И не хотела видеть. Но не думать о нем не могла. Она думала и о нем и о себе...

У человека есть биография. Она складывается из фактов, единственных и неповторимых. И эти факты нельзя заменить, нельзя вычеркнуть. Они вошли в сокровенную панораму воспоминаний.

Воспоминания же, как известно, способны продлить человеческую жизнь.

Это было на Ленинских горах весной. Были солнце, трава, первая весенняя трава, и первый поцелуй в губы. Был возлюбленный. Потом он оказался мерзавцем. Нет, нет! Неправда! Добряков не мерзавец...

Варя готова оправдать его. Она оправдывает не только его, но и себя. Она не стала бы всякому вешаться на шею. Она любила Добрякова. И любит сейчас. И он хороший парень.

Не совсем хороший. Но все-таки. Она, пожалуй, помирилась бы с ним, если б он пришел и стал просить прощения. Она простила бы его, пожалуй.

Но почему он не идет?

Ах, может быть, он решил сделать так, как говорила та женщина в вагоне: «Побаловался и ушел»? Неужели?

Это предположение оскорбляет Варю. Она краснеет от стыда и досады.

Она жестоко отомстит Добрякову.

Бессознательно она ищет в литературе, в жизни все, что походит на ее историю. И не находит.

В литературе описаны бедные девушки, которых бросали бесчестные соблазнитель.

Но ведь она не бедная девушка, и ее никто еще не бросал. И не может бросить. И не может соблазнить. Она сама бросит. И сама соблазнит, если надо. И сама расплатится за все свои ошибки. Пусть у нее будет ребенок. Пусть. Он нисколько не помешает ей работать и учиться.

И действительно, беременная, она стала работать и учиться еще с большим азартом, чем раньше. Но тяжелое сознание грубой и непоправимой ошибки не оставляло ее ни на минуту. Она носила под сердцем ребенка, думала о нем и думала о своей ошибке. Да, она совершила серьезную ошибку. Но что же делать?

После работы она пошла в заводскую амбулаторию. Ведь в прошлый раз она не долечилась как следует, досрочно ушла из клиники. Важно знать, может ли она все-таки иметь детей.

Женщина-врач приняла ее очень любезно.

Варя попросила:

– Посмотрите меня, пожалуйста, повнимательнее. Меня предупредили, что мне нельзя рожать.

– У вас муж есть?

– Нет у меня мужа, – вызывающе сказала Варя. И вдруг покраснела до слез.

Докторша заметила эти слезы.

– В другое время я вам ордер на аборт выписала бы, – сказала она, – но теперь нельзя, вы сами знаете. А как женщина я вам сочувствую. Я понимаю...

– Вы ничего не понимаете! – закричала Варя. – Ничего! И никогда не поймете...

По улице она шла заплаканная, не утирая слез.

У заводских ворот ее окликнули:

– Варя!

Она оглянулась. Утерла слезы по-детски, кулаком.

Перед ней стоял Добряков, сияющий, в новом пальто, в крагах. Была зима. Декабрь. Добряков шел на занятия технического кружка. Он сказал:

– Здравствуй, Варя.

Варя хотела войти в главные двери. Потом раздумала, повернулась и пошла в сторону.

Добряков пошел за нею. Он осмелел, увидев ее в слезах.

– Варя, я хотел с тобой поговорить...

– Отстань от меня, – сказала она и, взглянув ему прямо в глаза, добавила: – Я ненавижу тебя... Слышишь?

Она стала очень нервная в последнее время. И никто не знал, что случилось с нею.

Дома она кричала на мать.

– Господи! – говорила Наталья Кузьминична. – Это что же такое? На родную мать... Ты бы хоть поговорил с ней, Семен. Она тебе не родная, но она тебя послушает.

Но Семен Дементыч говорить с ней не решался. Варю он сам слегка побаивался. У нее крутой характер.

И, может быть, потому, что он никогда не вмешивался в ее дела, она была всегда с ним вежлива, а иногда даже ласкова.

Она, как в детстве, называла его дядей Сеней.

В клубе ставили «Лес» Островского. Семен Дементыч играл Аркашку.

Варя сказала:

– Я хочу посмотреть...

Семен Дементыч очень обрадовался. Он боялся только, что Варя не понравится. Она привыкла смотреть настоящих актеров.

Но ей понравилось. Она много смеялась в этот вечер. И когда после спектакля они шли домой, она взяла Семена Дементыча под руку и сказала:

– Ну прямо Игорь Ильинский! Если бы тебе, дядя Сеня, годочков десять убрать, ты бы...

– Я бы... – сказал он, – я не знаю, чего бы я делал. Я бы землю носом рыл. Я горячий.

Обидно, что годы не те. Давай меняться, Варя.

– Ишь ты какой! Любишь маленьких обманывать...

Варя смеялась. А Семен Дементыч вдруг погрузнел. Они шли по Арбату, мимо гастрономического магазина. Семен Дементыч сказал:

– Зайду возьму пол-литра. Душа у меня чего-то не так...

Он взял пол-литра, и они пошли дальше.

– Говорят, – сказал Семен Дементыч, – что человечество не будет потреблять напитки, если ему предоставить в полное его удовольствие театр и кино. А у меня наоборот. Мне театр душу разжигает. Я себя жалеть начинаю.

Он говорил как пьяный или как обиженный ребенок. Они переходили через Смоленскую площадь. Был первый час ночи. Варя передавалось грустное настроение спутника. А спутник все говорил и говорил.

– Главное, – говорил он, – знать, что делать. Я никогда этого не знал. Бросался во все стороны, все делал. А до главного так и не добрался. На старости лет меня за талант мой артистический хвалить стали. Режиссер мне говорит: «Ты, Сушков, прирожденный комик». Я говорю: «Артур Григорыч, какой же я есть комик, если я пожилой человек? Комик – он обязан быть моложавый, как я понимаю». Мне бы в актеры, правильно ты, Варя, говоришь, лет так тридцать тому назад надо было бы пойти. Когда я молодой был, кровь с молоком. Вот бы я был комик...

Варе было жалко отчима. Она успокаивала его как могла. Она напоминала ему, что он не такой уж старый. Но он мотал головой.

– Для чего мне, Варя, слова? – печально говорил он. – Я же сам понимаю. Человек два раза молодой не бывает. Но все-таки обидно. Я теперешнему народу завидую. Им все открыто.

Куда хочешь, туда иди. Им прямо говорят: «Вот тебе место». Их прямо за уши тянут в люди. И если другой идиот упирается, прискорбно смотреть на таких идиотов...

– Да, – сказала Варя, – это верно. Бывает...

– Никакого тумана теперь нет, – продолжал Семен Дементьич. – Все понятно. Все открыто. Действуй – и все тут...

– Да, это верно, – опять согласилась Варя. – Тумана нет. Все открыто. Но нельзя сказать, что все понятно. Это неверно. Неверно, дядя Сеня. Возьмем вот меня, например. Я молодая. Я ловкая как будто. Я знаю, куда мне идти, что делать. Я хорошо работаю. Иногда думается – правильно живу. Учусь, добиваюсь своего. Меня хвалят. У меня даже учатся некоторые. Я советы даю. А вот как мне самой быть сейчас, в моем положении?..

При слове «положение» Семен Дементьич смутился.

Он знал, что Варя беременна, что через несколько месяцев она должна родить. Но делал вид, что не знает. Из деликатности он не задавал ей никаких вопросов.

И сейчас, сконфузившись, он хотел переменить разговор. Он сказал:

– У всякого человека бывает в жизни чего-нибудь такое. Вот я знаю, например, случай...

– Я беременна, – сообщила вдруг Варя.

Отчим снял шапку, вытер запотевшую лысину носовым платком и проговорил некстати:

– До чего скользко! Дай я тебя, Варя, возьму под ручку...

– А мужа у меня нет, – продолжала Варя. – Я не хочу жить с мужем. Я сама могу прокормить моего ребенка. Муж мне не нужен. Я не люблю его. Мне он противен. Мне даже противно вспоминать про него...

И в этот вечер, называя Добрякова официальным словом «муж», она действительно уже не любила его. Он был сейчас отвлеченным понятием. Он был лишен костей и мускулов. Но он был причиной ее несчастья. Да, Варя чувствовала себя несчастной.

– Я сделала глупость, – говорила она. – Не надо было сходиться с человеком, с которым не придется жить. Но кто это знал? Теперь уж поздно жалеть. Я беременна. Докторша говорит – аборт...

– Ни в коем случае! – испуганно запротестовал отчим. – Ни в коем случае, Варя!.. Я тебе это твердо говорю. Ни в коем случае!.. Я этого боюсь и не признаю...

– Я ничего не боюсь, – гордо вскинула голову Варя. – Мне даже, я скажу откровенно, мне даже приятно, с одной стороны, что у меня будет ребенок. А с другой стороны, мне как-то нехорошо, ненормально, грустно. Я просто не знаю еще, как мне быть. Ты вот говоришь: туман, туман, вся жизнь прошла, и не знал, что делать. И я ведь по-настоящему тоже не знаю, как правильно. Все живут с мужьями. У всех детей есть отцы. А я одна... Ты вот сейчас придешь домой, откупоришь свою бутылку и забудешь до утра все свои горести. А я забыть не могу. Я водку пить не буду...

– И я не буду, Варя, – мотнул головой отчим. Потом подумал и добавил: – Я ее завтра, под выходной, трахну. Вдвоем с мамашей...

Вспомнив про мамашу, Семен Дементьич сказал:

– А она сидит себе, бедняжка, дома. Конфеток бы ей к чаю купить, что ли. Я просто из головы выпустил, что конфеток надо купить...

– Негде теперь, – сказала Варя, – все закрыто...

Они проходили мимо парка. На темных ветках озябших деревьев лежали синие снежные хлопья.

– Я человек беспартийный, – вздохнул Семен Дементьич, останавливаясь у ворот своего дома. – Неученый я человек. Тебе, Варя, может, и слушать меня вовсе не интересно. Но я тебе все-таки скажу по-стариковски, как я понимаю. Роди, Варя. Мы его нянчить будем, купать и так далее, что полагается. Я лично тебе говорю от чистого сердца. Если хочешь, я его могу скрыть. Будет считаться вроде как бы наш собственный с мамашей...

– Зачем же скрывать? – обидчиво произнесла Варя. – Я нисколько не стесняюсь. Пусть... Я не об этом ведь говорю...

И они вошли в дом.

7

А Добряков, по мнению многих, в самом деле неплохой парень.

Из деревни он пришел мальчиком. Лет ему было тогда не больше тринадцати. По проекции тетки, Марии Васильевны Кудеяровой, сиделки больницы имени Семашко, его устроили в ФЗУ. Он обнаружил способности.

Но способностей, как известно, мало для того, чтобы удивлять людей. Нужны еще трудолюбие и упорство. И эти качества у Добрякова оказались развитыми в высшей степени. Он учился грамоте и работал на станке, пел в любительском хоре и рисовал заголовки в стенгазете, играл на гармонике и занимался спортом.

Все это он делал без особенного блеска, не хуже и не лучше других, но на редкость старательно и безотказно, с добросовестностью крестьянина, добывающего хлеб.

Всю жизнь свою он распланировал. Он отобрал не главное, с его точки зрения, от главного, ненужное от нужного. И все главное, нужное вставил в свой план, в особое жизненное расписание.

В пятнадцать лет он твердо решил, что ему надо стать инженером. В шестнадцать лет он вступил в комсомол. В шестнадцать же лет он пришел на производство.

Он умел уже управлять станком, знал возможности и свойства металла. Он способен был работать не хуже среднего токаря, а иногда даже лучше среднего.

Но он не зазнавался. Он заглядывал через чужое плечо на работу других токарей, он учился непрерывно и неутомимо.

Даже у нас на заводе, где опытные старики учат молодежь довольно охотно и с удовольствием, надо все-таки подчас хитрить и по-особенному приноравливаться к знающим людям, чтобы познать все тонкости их ремесла.

Добряков это делал искусно. Он старался постичь не только смысл какого-нибудь производственного правила, но и перенять жесты опытного мастера. Он подглядывал незаметно за людьми, за учителями своими, и в то время, когда они работают, не рассчитывая на посторонний взгляд, когда они создают вещи, вкладывая в них весь свой опыт, и выучку, и незримую теплоту.

Добряков хотел быть первоклассным токарем. И он стал им. Но это была только первая часть его жизненной программы. Он выполнил ее успешно.

В восемнадцать лет он как токарь добился не только седьмого разряда, но и уважения. Его ставили в пример.

В комсомоле он считался первым активистом. Он не только хороший производственник, но и культурный человек. Он много читает, толково выступает на собраниях, вносит предложения, спорит с мастерами, когда это требуется.

И внешность у него интересная. Высокий, плечистый, он всегда опрятно одет, даже с некоторой долей этакого щегольства. У него красивые костюмы, модное пальто. Ботинки его всегда блестят. А в последнее время он приобрел модные краги.

У Добрякова есть основания уважать себя. И он себя уважает. Уважает, но не зазнается. Он выполнил пока только первую часть своей жизненной программы. Он должен выполнить и вторую. Он должен стать инженером и жениться.

Не было решено, когда он женится: после того, как станет инженером, или до этого. Он решил жениться, когда будет «подходящая кандидатура».

Этой «кандидатурой» была Варя. Он ухаживал за ней. Он включил ее в свой жизненный план.

Не увлекаясь особенно, он подсчитал все «за» и «против».

Варя – умная, знающая девушка и к тому же хорошенькая.

Варя будет помогать Добрякову жить, учиться, работать. Это верная подруга на всю жизнь. Она и посоветует, и поддержит, когда надо.

Ухаживая за Варей, Добряков все время придерживался расчета. Но на каком-то этапе расчет кончился и началась настоящая любовь.

Варя оставила его в разгар этой настоящей любви. Он готов был пойти на какие угодно уступки, чтобы только вернуть ее. Он готов был валяться у нее в ногах. И если б его не удерживал второй расчет, он сделал бы это.

Второй расчет был очень важный. Добряков боялся уронить свой авторитет в глазах жены. Она будет считать его уступчивым, если он сейчас пойдет просить прощения. Она всю жизнь будет капризничать тогда, играя на слабых струнках мужа.

Нет, уж лучше он подождет, когда она сама вернется. Должна же ведь она вернуться когда-нибудь. И Добряков ждал.

Все хладнокровие свое, полученное, должно быть, по наследству, так же как и некоторые понятия о жизни, он употребил теперь на то, чтобы не думать о Варе, не волноваться и спокойно выжидать.

Он по-прежнему много работал, учился и не забывал ходить в театр, в кино, на каток или в зимний бассейн для плавания, где он в последнее время готовился побить рекорд на быстроту.

Он возвращался домой, в свою новую комнату, нарочно поздно. Он как будто боялся оставаться с самим собой наедине. Дома же он сразу ложился спать.

И в тот момент, когда он натягивал на себя одеяло, его охватывало странное какое-то беспокойство. Он чувствовал, что им что-то не доделано, что-то забыто. Он что-то проморгал, Добряков. Но что?

Добряков вставал с постели, ходил по комнате в трусах, в туфлях. Думал. И неожиданно он начинал вспоминать, как Варя сидела вот на этом ящике. «Я стулья куплю, – думает Добряков. – Деньги теперь есть... А что сейчас делает Варя?»

Утром надо рано вставать. Надо выспаться как следует. Но Добряков не может уснуть. Он ворочается всю ночь на скрипящей кровати.

И утром идет на завод невыспавшийся, желтый. Якобсон говорит ему:

– Чего это невеселый?

– Я ничего.

– Ну, как ничего? Смотри, под глазами-то что делается! По девкам, наверно, шляешься? Весна подходит...

– Да ну тебя! – говорит Добряков. Он становится необщительным, мрачным. Он изменяется у всех на глазах.

И Варя Лугина тоже изменяется.

Она всегда была очень сильная, ловкая, подвижная. Но всегда казалась хрупкой. Впечатление это усиливали зеленые ее глаза, белокурые волосы и длинные, тонкие пальцы.

Беременность еще больше усилила это впечатление. Варя похудела, глаза запали, лицо покрылось желтыми пятнами. Она стала очень некрасивой, Варя Лугина, щеголиха и хохотунья.

Влюбиться в нее теперь было бы очень трудно.

Но Добряков, увидев ее на общезаводском комсомольском собрании, обрадовался невыразимо. Он даже покраснел от радости.

Она стояла у окна, окруженная десятком парней и девушек. Они разговаривали с ней, как разговаривал бы и Добряков, если б все пошло по-иному.

Теперь он боялся подходить к ней. Он хотел пройти мимо. Но пройти и не сказать «здравствуй» неловко. Он сказал.

Она оглянулась, посмотрела на него и проговорила весело:

– А-а... Здорово!..

Как будто ничего не произошло.

Добряков осмелел. Он подождал конца собрания и подошел к Варя.

– Мне с тобой надо поговорить.

– О чем?

– На минутку, – сказал Добряков, стесняясь.

Они вышли на лестницу, на широкие ступени, где летом стоят ящики с цветами и зеленой травой. Сейчас здесь стояли пустые ящики.

Добряков мял в руках свою клетчатую кепку.

– Варя, я хотел тебя спросить только одно слово... Варя, неужели ты всегда будешь так жить?

– Как?

– Ну, без меня...

Варя засмеялась.

– Да, – подтвердила она, – буду жить одна. Как жила.

– Но ведь ребенок-то – он общий...

– Нет, – нахмурилась Варя, – это будет мой ребенок. Можешь родить себе другого.

Добряков стоял перед ней, унылый, исхудавший, в черной косоворотке и черном пиджаке.

Варя смотрела на него сердито. Она сердилась сейчас на себя за то, что сошлась с этим парнем. Уж очень он унылый. Хуже бабы.

И ей казалось, что в ту первую и последнюю ночь их супружеской жизни, когда он говорил ей грубости, она любила его больше, чем сейчас.

Сейчас она его совсем не любит.

Добряков потрогал ее за руку.

– Варя, ты понимаешь...

– Ничего я не хочу понимать, Добряков, – отдернула руку Варя. – Уйдем отсюда. Могут подумать, что я с тобой какие-нибудь пашни завела...

– Пусть думают, – сказал Добряков.

Варя еще сильнее нахмурилась.

– Ну, знаешь, может, кому-нибудь интересно, чтобы так подумали, а мне противно...

Внизу, в полутемном коридоре, Добряков заговорил более твердым голосом, рассудительно и даже строго:

– У ребенка должен быть отец. Ты это понимаешь? Ребенок подрастет и спросит. А кроме того, в загсе ему будут отчество давать. Какое же ему будет отчество? Ну вот ответь мне: какое ему будет отчество?

– Смотря кто будет, – сказала Варя. – Если девочка, значит, Варваровна. Если мальчик, значит, Варварович...

– Чудачка ты! – усмехнулся Добряков уже снисходительно. – Никто же не разрешит, чтобы такие отчества давали. Я это знаю точно, что никто не разрешит...

– Ну, посмотрим, – сказала Варя. – Посмотрим...

8

Докторша посоветовала воздерживаться от резких движений. Оставалось меньше четырех месяцев до родов.

На заводе все уже знали, что Варя Лугина беременна. А кто муж? Этого никто не знал.

Это никого бы и не интересовало, если б Варя Лугина была просто работницей, которая часть своего времени отдает заводу, а в остальное время живет где-то там, кто ее знает где. Лугина же проводила на заводе большую часть своего времени. И вся ее жизнь была у всех на глазах.

Она пришла на завод, когда завода еще, в сущности, не было. Был пустырь. И на пустыре этом вырастали первые корпуса.

В корпусах еще не было стекол, не было даже оконных рам, когда Варя Лугина пришла сюда. Она пришла прямо из школы.

В институте, куда она хотела поступить, ей сказал знакомый преподаватель:

– Вы простите меня за непрошенный совет, но я должен вас предупредить, что учеба ваша здесь не будет так эффективна, как вы, может быть, хотите. Вы не знаете производства и не знаете жизни. Вы еще слишком молоды. Инженеры со школьной скамьи никогда не бывают хорошими инженерами. По-моему, вам надо сначала познакомиться с заводом. У вас еще все впереди...

Варя поверила этому преподавателю.

Зимой она работала ученицей у монтажников, расставлявших оборудование в заводских корпусах. На субботниках с увлечением возила в тачке теплую, дымящуюся землю и таскала кирпичи.

Она счастлива была, что в строительстве огромного завода, в блестящих на солнце бетонированных его корпусах, есть и ее небольшая доля участия...

На достроенном заводе, где стоит теперь у главного входа швейцар в галунах и летом растут цветы, она работала вначале шлифовщицей. Потом ее перебросили на приемку деталей. Ей наскоро рассказали технический процесс, показали итальянскую карту контроля и, напомним, что она окончила девятилетку, сказали:

– Учись. Будешь приемщицей.

А как учиться? Она приходила домой расстроенная, просила отчима рассказать ей все, что знает он об измерительных приборах и о таком замысловатом приборе, как микрометр.

Она говорила:

– Ты все-таки, дядя Сеня, автомобили починяешь. Ты должен знать...

– Автомобили, – говорил отчим, – это вещь одна, а микрометр – это вещь другая. Я их сроду в руки не брал, микрометры. А путать людей я не любитель.

Варя должна была доходить до сокровенных особенностей незнакомого ей ремесла почти самостоятельно, почти без посторонней помощи.

Помогать ей стали, когда она уже ухватилась за какое-то звено, уверенно и крепко. Ее заметили. Ее продвигали все дальше и дальше.

Освоив немного приемку штампованных шариков, она перешла контролером в роликовый цех. Здесь только что установили токарные автоматы. Шлифовки еще не было.

Приходилось самой готовить заказы на инструмент, чертить эскизы для постовых контролеров. Приходилось даже рассчитывать на целый год потребность в рабочей силе, знакомиться с нормированием.

Детали приходилось принимать с разных машин. Надо было знать оборудование, знать не только виды брака, но и способы его предупреждения.

В то время контролер был единственным лицом, обязанным защищать весь цех от брака.

И Варя Лугина была таким контролером. Она хотела быть таким. Она спала не больше четырех часов в сутки, не успевала обедать. И мамаша кричала:

– Семен! Это что же такое творится? Девочка погибает. Она тебе не родная, тебе и горя мало. А я-то как страдаю...

– Варя, – говорил Семен Дементыч, встретив падчерицу в краткий промежуток между работой и сном, – пожалей хоть нас, стариков, если ты себя не жалеешь. Зачем ты, это самое... не ешь, когда тебя просят? Ну что за глупости, ей-богу! Я тебя прошу...

– Вы с ума сошли? – спрашивала Варя. – Я ведь, кажется, не ребенок...

И разговор обрывался на этом.

Поколению, входившему в жизнь в начале первой пятилетки, были предоставлены большие права. Но и требования к нему были предъявлены большие.

Это поколение участвовало в создании новых, грандиозных вещей в условиях труднейших и часто как будто бы непосильных. Приходилось учиться и работать. И главное – приходилось учиться и работать самостоятельно. Люди взрослели быстрее, чем в обычное время.

В девятнадцать лет Варя Лугина была уже мастером. Она говорила Фомину:

– Папаша, по-моему, ты неисправим...

– Почему?

– Ну как же... Я тебе третий раз говорю – края должны быть свободны, а ты их стачиваешь. Это же брак...

Фомин поднимал очки на лоб, внимательно смотрел на шайбу, потом на Варю. И, осмотрев ее со всех сторон, спрашивал:

– А кто учил тебя на этом станке?

– Ты.

– А теперь ты меня учишь?

– Я.

– Забавно! – говорил старик.

Но все-таки старался не стачивать краев. Ослушаться мастера нельзя.

А Лугина была очень строгим мастером.

Потом ее перебросили на комсомольскую работу. И когда она выговаривала комсомольцу за какой-нибудь промах на производстве, она не просто выговаривала, но могла и показать, как надо делать по-настоящему.

Добряков и до сих пор помнит, как Варя Лугина в свое время «брала его в работу», как он краснел перед девушкой, но ничего не мог возразить. Она всегда была права. И не отсюда ли началось его влечение к этой девушке, закончившееся так печально?

Варя Лугина ушла от него навсегда. Она привыкла все в жизни делать самостоятельно и самостоятельно хотела решить сейчас самый сложный в ее жизни вопрос. Без мужа. Без Добрякова. Сама.

Она пришла к секретарю комсомольского комитета и сказала, что хочет опять пойти на производство: ей тяжело теперь заниматься комсомольскими делами – много беготни, а ей трудно сейчас.

– Почему сейчас?

– Я беременна.

– Как? – секретарь удивился. – Разве ты, Варя, вышла замуж?

– Нет, – сказала Варя. – Я не вышла. И не хочу выходить. Не хочу...

– Ну? – сказал секретарь, еще не зная, что сказать.

Они разговаривали с глазу на глаз. На мгновение в комнате наступила неловкая тишина.

Потом секретарь, оправившись от смущения, заговорил:

– Мне неудобно, Варя. Это вообще-то как будто меня не касается. Это личный вопрос. Но все-таки кто же отец ребенка? Интересно все-таки... Мы свои...

– Один гражданин, – сказала Варя насмешливо, – пожелавший в общем остаться неизвестным...

– Так, так, – секретарь забарабанил пальцами. – И желания отца и матери в общем совпали, чтобы остаться неизвестными?

– Нет, – сказала Варя, улыбаясь весело, – мать известна. Я мать. И вот, как женщина с ребенком, я прошу тебя пустить меня на производство. Мне там легче будет. Не надо бегать. Мне сейчас нельзя бегать...

Дня через три ее желание было исполнено. Она вошла в тот цех, где работает Добряков и где она работала когда-то. Это было утром.

Добряков увидел ее и обрадовался. Она идет к нему мириться. Наконец-то! Он был великодушен, Добряков. Он не хотел напоминать ей о происшедшем. Чтобы замять неприятные объяснения, он решил сообщить ей сразу же, что приглядел в комиссионном магазине материю на весеннее пальто для нее. Называется парижский кастор. Нежно-коричневый цвет, легкий ворс...

Но Варя прошла мимо, не заметив его. Он посмотрел ей вслед. Она шла медленно, в желтых сапожках, в кожанке. Она вошла в конторку.

Из конторки она вышла вместе с начальником цеха. И они пошли меж станков.

– Здравствуй, – сказала она, – товарищ Добряков.

– Здравствуй, товарищ Лугина.

И ни тени иронии. Очень серьезно. Добряков даже с заметным почтением произнес это обычное приветствие.

Лугина обошла с начальником весь цех. Потом подошла к Добрякову.

– Я, – сказала она, – прошу тебя, товарищ Добряков, забыть все, что было между нами. Я работаю здесь мастером...

Добряков не сразу понял, что она хочет сказать. Он сначала подумал, что она просит забыть, что они разошлись, и помнить, что он отец. Он обрадовался вначале...

Но она продолжала:

– Я прошу забыть, товарищ Добряков, что мы когда-то были с тобой в каких-то отношениях. Это надо сейчас забыть...

Добряков наконец понял, в чем дело. Он побледнел. Но утвердительно мотнул головой.

– Хорошо. Я ничего не позволю...

И действительно, он все время держался хорошо.

Лугина здоровалась с ним по утрам, недолго говорила о делах. Иногда советовалась. И в этом нет ничего удивительного. Начальник цеха с ним тоже советуется.

Потом Лугина ушла надолго.

Было известно, что она родит...

После работы Добряков, как обычно, обтирал станок, прибирал инструменты, когда к нему подошла шустрая Катя Потехина.

– Слушай, Добряков, ты к Варе Лугиной как относишься?

Добряков поднял голову.

– А тебе какое дело? Ты чего прилезла?

– Не груби, – попросила Катя. – Я никуда не прилезла. У меня есть поручение от ребят. Дело в том, что Варя Лугина родила, и мы собираем на подарок ребенку. Это дело добровольное, кто хочет. Не хочешь – не надо. Ребенок и без тебя обойдется...

Добряков покраснел.

– Ты не тараторь, погоди. – И стал расстегивать спецовку.

Во внутреннем кармане у него лежали в одной пачке документы и деньги. Он вынул из нее сто рублей и протянул Кате. Потом, подумав, дал еще десятку.

– Куда это? – засмеялась Катя.

– Ты же сама сказала – ребенку на подарок...

– Так ты смотри, сколько даешь, – развернула деньги Катя. – Все давали – кто пятерку, кто десятку. Симаков дал пятнадцать рублей. А у тебя, смотри, сотня и еще десятка. Ты что, пьяный?

– Не твое дело, – отодвинул ее руку Добряков. – Тебе поручили собирать на подарок – ты собирай. А это не твое дело – разглядывать, кто сколько дает. Может, я и две сотни дал бы, но у меня с собой нету...

– Вот это я понимаю! – восхитилась Катя. – Я даже не думала, что ты такой парень. С размахом...

– Ну ладно, иди, иди! – слегка подтолкнул ее плечом Добряков. – Не люблю эти разговоры...

9

Все были уверены, что Добряков не такой парень, чтобы вдруг потерять душевное равновесие. Но он потерял его. И случилось это как-то просто, еще зимой, когда начались у него по ночам непонятные приступы беспокойства.

Иногда он хотел ночью же встать и пойти к Варе, хотел плакать и просить у нее прощения. Он же совсем не виноват. Ну, сказал глупость – неужели из-за этого надо портить дружбу, разрывать любовь? Ведь он любит ее. Он жить без нее не может.

Но, зная Варин характер, он все-таки не решался идти к ней. Он сидел на тахте и думал. Он думал о том, что теперь он вовсе конченный человек.

Иногда находили приступы озлобления. Он ругался. Он кричал наедине с самим собой, что она истеричка, эта Варька. И зачем он только связался с ней? Это же хамство с ее стороны! Это даже не по-комсомольски...

Но приступы озлобления были кратковременны. Добряков опять тосковал. Он перестал бывать в театрах, не занимался спортом. Он даже работать стал значительно хуже. Он ходил какой-то сонный, потерянный, будто заболевший.

И так проходили дни, декады, месяцы.

Летом он взял отпуск и никуда не поехал. Он почти весь отпуск просидел у себя в комнате, мрачный и апатичный.

Все расчеты его пошли насмарку. Старое расписание засиживали мухи.

Однажды к Добрякову зашли приятели. Они позвали его в парк имени Горького. Он пошел неохотно.

В парке было большое гулянье. Добряков шел по парку в кругу друзей. Он повеселел немного. Он шел и хлестал себя веточкой по крагам.

И вдруг увидел Варю.

Она шла ему навстречу по Ландышевой аллее. Горели фонари. Крутились карусели. Она шла не одна, а с каким-то парнем. Парень с виду провинциальный, очень молодой. Лет, должно быть, семнадцать. Галстук заколот английской булавкой.

Добряков взглянул на него и озлился. Нашла уже себе кавалера! Добряков хотел, как говорил он, из принципа пройти мимо. Но не мог пройти. Остановился и сказал грубо:

– Подожди.

– Ну, жду, – улыбнулась Варя. – Надо бы сначала поздороваться...

– Здравствуй, – сказал он все еще грубо и, не стараясь скрыть озлобление, покосился на парня. – Ребенок где?

– Дома.

– А ты гуляешь?

– Гуляю, – кивнула Варя. – Вот брат ко мне приехал. Показываю ему Москву. Познакомьтесь...

Добряков протянул ему руку и в первый раз спокойно посмотрел на него. Да, действительно парень походит на Варю. И глаза у него такие же зеленые. Добряков успокоился. Он сказал мягко, обычным своим голосом:

– Варя, отойдем на минутку...

И когда они отошли, он спросил:

– Ну как, ты не надумала? Я ведь, Варя, день и ночь думаю про тебя. Мне очень плохо, Варя. Я не знаю, что делать...

– Пройдет, – улыбнулась Варя. – Пройдет. Мне сначала тоже было плохо. А сейчас хорошо. Я даже удивляюсь сейчас, как это я могла жить с тобой...

– Значит, окончательно не хочешь жить вместе?

– Не хочу, Добряков. И не могу. Понимаешь, как-то все расклеилось, и теперь не склеишь. Я не говорю, что я тебя презираю. Нет. Но я тебя не люблю и, мне кажется, никогда не любила. Жаль мне только, что дружить будет трудно. Ты все-таки неплохой парень.

– Это психология, – заметил Добряков угрюмо. – Как у Достоевского. Или еще у кого-то. Я читал...

– Пусть, – сказала Варя. – Пусть психология. Дай мне веточку...

Он дал ей веточку. И она пошла по аллее, похлопывая веточкой по желтым сапожкам. Вот эту женщину он совсем недавно обнимал, она целовала его, она родила от него ребенка. И все-таки он не имеет никакого права на эту женщину...

Варя пришла на завод. И в первый же день ее позвал к себе секретарь комсомольской организации. Он сказал, улыбаясь приятельски, что неизвестный, о котором говорила Варя, уже известен. Это Добряков. Все уже знают. И все жалеют Добрякова. Он ведет себя крайне странно, плохо работает, начал пить. Не может ли Лугина поговорить с ним, что ли?

– Поговорю, – пообещала Варя. – Но толк-то какой? Разве он послушает?..

– Все-таки, – сказал секретарь. – Я прямо не знаю, как с ним быть.

– Ладно, – сказала Варя.

Но обещание свое она так и не выполнила. Она не знала, о чем разговаривать с Добряковым. Он действительно плохо работает. Но только ли любовь виновата в этом?

Однажды Добряков подошел к Варе и попросил разрешения зайти к ней, повидать дочку. Он уже видел ее раза три, когда Варя жила еще на старой квартире. Недавно ей дали две комнаты. Добряков записал адрес.

Утром в выходной день он выпил для храбрости и, небритый, пошел проведать дочку.

Вари не было. Дома были только Семен Дементыч и какой-то его приятель.

Они пили водку.

Осторожно, на цыпочках, Семен Дементыч подошел к люльке и, приподняв занавеску и спугнув с занавески мух, показал отцу его ребенка. Девочка спала.

Добряков поцеловал ее в лобик и сказал:

– Какая... А? Моя дочка...

Семен Дементыч сказал:

– Да, ничего себе актриса... Есть на что поглядеть...

Потом он пригласил отца выпить с ними. Добряков согласился. Он пил водку, кусал огурец и, разливая рассол по небритому подбородку, жаловался на жизнь. Ну что это, действительно, за комедия? Он отец ребенка, а должен ходить и смотреть его, как картину в Третьяковской галерее.

Добряков забыл, что он в гостях и что пьет хозяйскую водку.

– На самом-то деле, – сказал он, – я прихожу, и какие-то посторонние люди мне показывают мое же дитя, моего ребенка, которому я, можно сказать, отец...

Наступила неловкость. Приятель хозяина хихикнул. А Семен Дементыч ехидно сказал:
– Насколько я понимаю, это получается как у Вильяма Шекспира. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить...

Добряков понес было стакан к губам. Но, услышав эти слова, он опять поставил его на стол и стукнул им. И, стукнув, закричал:

– Я попрошу, пожалуйста, рот на меня не разевать! Вы тут вовсе ни при чем. Я ей отец! Законный отец и муж...

– Ты вот мне сломай стакан, – спокойно сказал Семен Дементыч. – Сломай. Я тогда на тебя не посмотрю, что ты отец и муж...

Добряков ушел рассерженный.

Но через минуту он вернулся. Подошел к окну и закричал:

– Эй, присяжный поверенный...

– Чего тебе?

Семен Дементыч подошел к окну.

– Пряник, – сказал Добряков. – Я пряник девочке принес. Передай, пожалуйста...

Семен Дементыч перегнулся через подоконник и принял из рук Добрякова большой, облитый сахаром пряник.

– Она же такую вещь не может еще кушать, – засмеялся он. – Она даже коровье молоко не потребляет. Ее кормят специально-особой пищей для детей...

– Ничего, – сказал Добряков, – должна привыкать.

– Это обязательно, – согласился Семен Дементыч. – Должна.

Добряков стоял внизу, расставив ноги, как матрос на палубе, заложив тяжелые руки в карманы широких штанов. Он без злобы смотрел сейчас на Семена Дементыча. И без злобы сказал:

– А ты зверь, старик...

– Я зверь, – опять согласился Семен Дементыч. – А ты вот, я гляжу на тебя, дурак. Я тебе просто так, по-стариковски скажу. Бросила тебя девица... Ну и что же? По теперешним временам никто не гарантирован. Всякого могут бросить. А ты уж и слюни распустил, и морда небритая. Ну как самому-то не противно? Молодой человек, социализм, как я понимаю, строишь...

– Да, – сказал Добряков, – тебе хорошо, старик. Тебе хорошо разговаривать...

– И, наверно, в комсомоле состоишь? – спросил Семен Дементыч.

– Ну, это не ваше дело...

– То-то, что не наше! А жалко, что не наше. Бриться надо. Чего там стоишь? Заходи.

Обедать будем...

– Нет уж, я пойду, – сказал Добряков. – Спасибо.

– Потом скажешь спасибо. Заходи...

– Нет уж. Я в другой раз. Правильно, я небритый...

– Побрейся. Могу бритву дать.

– Нет, я в парикмахерскую лучше зайду...

– Ну, как хочешь, – махнул рукой Семен Дементыч, – я неволишь тебя не могу.

И Добряков ушел.

Вечером пришел секретарь комсомольской организации завода. Он пришел, чтобы без Вари поговорить со стариками. Не могут ли они повлиять на Лугину, чтобы она пожалела Добрякова? Ведь парень совсем пропадает.

– Я его сам жалею, – признался Семен Дементыч. – Паренек, видать, ничего, но какая-то в нем есть ошибка. Я с Варюшкой поговорю. Но вряд ли это дело выйдет. Уж больно разочаровалась она в нем. Говорит про него в насмешку: «Мой первый муж». Значит, предполагает,

как я понимаю, снова выйти замуж, но за кого-то другого... Не знаю, не знаю, как это дело повернется... Серьезное дело...

– Если б это дело было не серьезное, я к вам не зашел бы, – сурово произнес секретарь. – Я бы не стал вас тревожить. Но история вся в том, что пропадет замечательный парень...

– Замечательный? – переспросил Семен Дементьич.

– Вот именно – замечательный, – подтвердил секретарь.

– Ну что ж, вам виднее, – уклончиво произнес Семен Дементьич. – Вы люди образованные, политичные. Вам виднее. Но мы ведь тоже не сразу из леса. Мы тоже кое-что соображаем. Вот вы говорите – замечательный. А чем же, вы считаете, он в первую голову замечательный?

– Хороший комсомолец, работник хороший.

– Работник хороший, – как бы задумался Семен Дементьич. – Ну что ж, это, конечно, хорошо. Хороший работник – это большое дело, ничего не скажешь. И комсомолец, говорите, хороший?

– Хороший, – уверенно кивнул секретарь.

А Семен Дементьич прищурился.

– А в чем же, я извиняюсь, вы замечаете его хорошенько по комсомольской линии?

– Дисциплинирован. Аккуратно выполняет комсомольские поручения. И главное – отлично работает на производстве. Только в последние месяцы, на почве личных неурядиц, так сказать, на почве личной жизни, стал работать хуже. Личная жизнь стала отражаться и на производстве, снизились производственные показатели. И это вызывает тревогу...

– Вот тут и есть ошибка, – указал пальцем Семен Дементьич. – Вот тут и есть серьезная, как я понимаю, ошибка.

– В чем же вы видите ошибку? – с некоторой надменностью спросил секретарь.

– А вот в том, – загорелся Семен Дементьич, – в том я вижу нашу ошибку, что мы все еще меряем людей по одним только показателям, с одной только стороны. Хорошо работаешь – значит, ты во всем хороший. Ну, конечно, слов нет, хорошего работника надо повсюду выдвигать. Надо награждать его, ласкать и приветствовать. Но это еще отнюдь, как я понимаю, не все. Хорошие работники, наверно, и за границей имеются. А у нас в первую очередь они должны быть, поскольку мы работаем на себя. Но это, повторяю, еще не все, отнюдь не все. Надо и к хорошему работнику приглядываться. И заглядывать ему в середку, как говорится, в самую душу: нет ли у него какой-нибудь затхлости там, какой-нибудь чепухи ненужной, которая и ему в дальнейшей жизни может повредить, и всем вокруг его – всему, одним словом, населению? Вы глядите, вон какой Добряков. И комсомолец, и производственник, и, как я понимаю, красавец. Одним словом – орел. А внутри, в середке, у него таится какая-то нехорошая закваска, с нехорошим запахом. Но этого как будто никто до поры до времени не замечает. Или не хочет замечать, поскольку он хороший работник.

– Какая закваска? – вдруг обеспокоился секретарь. Он собрался уже уходить и стоял в дверях, когда Семен Дементьич произнес эти слова. – Вы на что, собственно говоря, намекаете?

– Я ни на что не намекаю, – сказал Семен Дементьич. – Я просто говорю, как я это понимаю. А понимаю я это так, что закваска у Добрякова нехорошая. И чем больше вы будете говорить ему в глаза, что он замечательный, тем закваска эта будет укрепляться в нем...

– Вон что? – почти сердито засмеялся секретарь и опять сел на стул, пристально вглядываясь в собеседника. – Вы, стало быть, философ?

– Ну да, – засмеялся и Семен Дементьич, – вы в точности угадали. Я философ и есть. А что ж мне остается на старости лет? Все раздумываю над разными делами. Уже помирать скоро. И вот гляжу, как идет вокруг меня жизнь, и хочу угадать, как она дальше пойдет. Не чужая она все-таки для меня, эта жизнь. И моя капля в ней есть. И моя кровушка, в двух войнах пролитая...

– Это все так, – погладил скатерть на столе секретарь. – А что касается Василия Добрякова, то надо прямо сказать, вы в нем ошибаетесь. Добряков – человек политически проверенный. Это наш человек. До корней волос...

– Все люди наши, – сказал Семен Дементыч. – Ни от кого, я считаю, отказываться не надо. Но корни у человека не только в волосах. И политически если человека проверять, так его надо со всех сторон оглядывать. Со всех сторон изучать. И показателей для этого дела найдется много. Ни в какую анкету они не впишутся. Бумаги не хватит. А насчет Добрякова я с Варюшкой поговорю. Мне это ничего не стоит. Я поговорю. Но будет ли толк какой – не знаю. Этого угадать никак нельзя. А вы, я советую, галочку пока не ставьте. Галочку еще рано ставить...

– Какую галочку? – удивился секретарь.

– Ну, эту галочку, какую вы ставите в бумагах, в списке. Было, мол, такое личное дело Добрякова и Вари Лугиной. Мы, мол, комсомольская организация, вмешались в это дело и поправили. Поправить это дело не так-то просто...

– Вы, может быть, считаете, что его и поправить нельзя? – спросил секретарь.

– Почему нельзя? Поправить все можно, – опять уклончиво ответил Семен Дементыч. – Но качество требуется. Во всяком деле требуется качество. И в семейной жизни тоже. Даже тем более. А я с Варюшкой поговорю. Почему не поговорить? Я не только поговорю, я даже послушаю, чего она скажет. Послушать – это, на мой взгляд, даже много важнее, чем поговорить... И вы послушайте, что вам скажет Добряков, если он вам откровенно скажет... А галочку, я советую, пока не ставьте...

Секретарю комсомольской организации не понравился словоохотливый Семен Дементыч. Секретарь так больше и не зашел к нему.

Добряков спустя полгода женился на шустрой и курчавой Кате Потехиной.

Варя же до сих пор не вышла замуж.

А жаль...

Москва, зима 1936 г.

Ближайший родственник

У подъезда гудел автомобиль. Шофер, должно быть, нервничал. Волков торопливо одевался. Он проспал сегодня. Открыв форточку, он сказал: «Я сейчас, Иван Прокофьевич». И, выйдя в переднюю, стал надевать шляпу, пальто, калоши.

Новые калоши надевались очень туго. Волков с трудом вбил ногу в первую и услышал звонок.

У дверей стоял почтальон.

– Вам телеграмма.

Волков вскрыл ее, прочел и, так и не надев вторую калошу, вернулся в кабинет.

Нинка думала, что папа не слышит автомобильных гудков, побежала ему сказать и, воровавшись в кабинет, увидела, что папа плачет.

Большой, широкоплечий папа сидел в пальто, в шляпе, в одной калоше и плакал, не утирая слез. Это зрелище испугало Нинку. Она побежала к матери.

– Мама, мама...

Татьяна Федоровна, взволнованная, заспанная, шурша узбекским халатом, вошла в кабинет, взяла из рук мужа телеграмму, прочла ее и тоже заплакала. И, глядя на них, заплакала Нинка.

В телеграмме было сказано: «Мама умерла тчк приезжай скорее тчк папа».

Волков три раза перечел телеграмму. Он все еще думал, что произошла какая-то ошибка, что почтальон, может быть, перепутал адрес. Он все еще не хотел верить, что умерла именно его мать, эта маленькая, сухонькая старушка с коричневым скорбным лицом, которую он видел в последний раз несколько лет назад и с которой собирался увидеться в этом году летом. Да, в этом году он собирался поехать к матери, привезти ее в Москву и выполнить наконец все обещания, данные еще в детстве.

В детстве Волков часто жалел свою мать. Она стирала белье чужим людям, ходила чужим людям мыть полы. Уходила из дому чуть свет и возвращалась затемно. И ночью, дома, продолжала работать при свете керосиновой лампы, стирать и шить, починять и гладить.

За всю жизнь свою, беспокойную и торопливую, она, как говорится, не присела ни разу, не съела ни одного сладкого куска, приберегая их для сына, Витеньки, или для мужа, Матвея Кузьмича.

Муж служил швейцаром в Дворянском собрании. В свободное от службы время он сапожничал на дому – принимал заказы на починку. А когда заказов не было, ходил по дворам – чистил нужники, носил воду, колосил дрова. Заработанные деньги шли на сберегательную книжку.

Затаенная мечта о собственном домике с огородом и с садиком не давала спать Матвею Кузьмичу. Он даже в снах своих, тревожных и торопливых, видел собственный домик. И ради домика этого, существовавшего пока только во сне, жена зимой и летом ходила в одних и тех же ботинках, в одном и том же платье и старалась есть не дома, а у хозяев, где стирала белье, мыла полы и домовничала.

Виктор в детстве жалел свою мать и, глядя на руки ее, худенькие, тоненькие, в синих жилах, говорил:

– Вот подожди, мама, я вырасту, ты посмотришь, как я буду тебя кормить. Работать ты не будешь. Ты в театр все будешь ходить, конфеты есть.

Мать смеялась и, счастливая, плакала.

– Ты учись только, Витенька, – говорила она, просветленная, в слезах. – А там увидим.

Виктор учился в гимназии. Отец хотел, чтобы сын его вырос таким же господином, как те, которым отец подавал пальто. Скупой, прижимистый, отказывающий себе во всем, он ничего

не жалел для сына. Сын учился в гимназии вместе с барскими детьми. Учился хорошо, прилежно. Он, наверное, окончил бы ученье с золотой медалью, как пророчили ему, если б на шестнадцатом году его не исключили из гимназии с волчьим билетом. Исключили за какую-то, как говорил отец, «неподходящую» речь на сходке.

Мать заметно постарела после этого случая. Матвей Кузьмич ходил угрюмый. А Виктор, устроившись рабочим на кожевенный завод, продолжал говорить матери:

– Ты только подожди, мама. Я вот подучусь на этом деле, и мы хорошо заживем. Вот посмотришь.

– Ничего, Витенька, – говорила мать, – ничего, все устроится как-нибудь.

И она крестила сына, сокрушаясь втайне, что сын не похож ни на нее, ни на отца. Они были смиренные, забытые люди, а он рос какой-то неугомонный, неукротимый. «В дедушку он, наверно, такой-то, Господь с ним», – боязливо думала мать, вспоминая отца своего, волжского грузчика, пьяницу и буяна.

Но и дедушка, может быть, не позволил бы себе того, что позволял Виктор. На кожевном заводе он организовал забастовку, пошел просить поддержки у других заводов и угодил в тюрьму. Где уж теперь было думать, что сын вырастет благородным господином! Надежды рухнули окончательно.

И родители думали только о том, как бы вызволить сына из тюрьмы. Матвей Кузьмич ходил кланяться в ноги разным господам, просил слезно, клялся вечно Бога молить. Но сын был крепко посажен, и ни просьбами, ни молитвами невозможно было сократить положенный ему изрядный срок.

Матвей Кузьмич уже впал в отчаяние, перестал хлопотать, перестал даже с прежней верой молиться за сына, когда сын неожиданно сам помог себе.

В самый знойный праздничный день, в разгаре лета, он бежал из тюрьмы на глазах у всего караула, чем прославил себя и наделал в городе много шума.

Поздней осенью, когда разговоры о смелом его побеге утихли немного и жители стали постепенно забывать о нем, он явился к родителям неожиданно, темной ночью, оборванный, грязный, исхудавший, рассказал без подробностей о своих делах, похлебал нежирных щей, помылся, взял рубаху, штаны и ушел в ту же ночь неизвестно куда. И надолго ли, тоже неизвестно.

В родном городе, в Сызрани, он опять появился только в революцию. Выступал на митингах, ругал царя и еще кого-то ругал. Голос у него был звонкий, сильный. И весь город, небольшой, вечно тихий, слушал его, волнуясь.

В городе помнили его, говорили:

– Это Витька Волков, Матвея, швейцара, сын. Политический.

И прибавляли при этом не то в осуждение, не то в похвалу:

– Ох и бедовый парень!

Отец и мать не ходили слушать его речи. Они сидели дома, ожидая новых несчастий. Сын приходил домой охрипший, усталый. Он по-прежнему хлебал нежирные щи и, как прежде, уговаривал мать:

– Ты только подожди немножко. Ты не думай, что вечно так будет. Вот посмотришь, как все устроится...

Он всегда разговаривал больше с матерью. С отцом он говорил очень редко и мало, и видно было, что он не любил отца.

В начале зимы он снова уехал из города и сказал матери, что едет на фронт. На Гражданскую войну.

– Буржуазию уничтожить еду, – сказал он весело, и зубы, белые, блеснув в улыбке, осветили загорелое, исхудавшее его лицо.

– Ты слышишь, Матвей Кузьмич? – сказала мать. – Витенька-то... на войну поехал...

Но отец ничего не сказал. В последнее время он уже не вмешивался в дела сына. Пусть делает что хочет. На войну – так на войну...

Эта война продолжалась почти пять лет. Волков-сын приезжал иногда на побывку. Мать стирала ему белье и одежду, а он, голый, сидел за печкой и, как в детстве, говорил:

– Подожди...

Мать ждала не чудес, не богатства, не роскоши, не хорошей еды, а спокойного житья, когда сын наконец вернется домой, осядет навсегда, может, женится и она будет качать его детей, своих внуков.

Но после войны сын заехал домой всего на три дня и снова уехал.

Жил теперь он в далеких краях, где-то в Западной Сибири. А потом заехал еще дальше, на Дальний Восток. Он работал там и учился, был директором завода и студентом. О делах его родители знали только по письмам, которые писал он регулярно. И так же регулярно он присылал им деньги.

Дела у него как-то менялись, ухудшались или улучшались, но сумма денег, посылаемых родителям, оставалась неизменно крупной. Он старался только увеличить эту сумму. Он хотел, чтобы старики хоть на закате дней своих пожили по-человечески, чтобы мать не отказывала себе в сладком куске, чтобы одевалась почище, как не могла одеваться в молодости.

Но, посылая деньги родителям, сын знал наверное, что они по-прежнему скупятся и даже не едят как следует, что отец по-прежнему урезывает себя и мать, проводит жесткую экономию и, хотя теперь у него есть свой домик в три окна и свой огород, он продолжает копить деньги, якобы на «черный день», который, может быть, никогда не наступит.

Эта неистребимая жадность отца, потомственного нищего, мечтающего разбогатеть, безумная страсть, которой подчинен был старик с молодых лет, чуть ли не с детства, возмутила сына.

И, жалея мать, вынужденную во всем покоряться мужу, отказывать себе во всем, сын стал думать, как бы это перевезти стариков на Дальний Восток. Здесь отца удалось бы взять под особое наблюдение, ограничить его власть над матерью. Мать пожила бы наконец в свое удовольствие.

Этот замысел сын вынашивал долго. Но замысел этот было трудно выполнить. Сын был занят необыкновенно. Он переезжал из города в город, и дела, неотложные, важные, волновали его больше, чем забота о матери.

Он думал, что мать подождет, что если не в этом году, так в будущем он обязательно заберет стариков к себе и все устроится в лучшем виде. Он спешил постоянно, каждый день, каждый час, и в этой спешке проходили годы.

О родителях Виктор Матвеевич снова стал думать, когда его перевели в Москву. Он жил теперь в большой квартире, в которой свободно вместе с ним, с его семьей, могли поселиться и родители. Он написал им об этом, пригласил приехать. Но они отказались.

Отказался, вернее, отец. Он заявил, что у него дела, хозяйство – домик, огород, коза и куры. Он уехать никак не может, а если мать желает, пусть едет. Он ее не удерживает.

Но мать самостоятельно не могла отправиться в Москву. За нею надо было приехать. И Виктор Матвеевич решил, что за матерью он поедет сам. Он сам привезет ее в столицу, сам будет водить ее в столице по театрам, катать на автомобиле, показывать достопримечательности. Словом, сделает все, чтобы выполнить давние свои обещания.

Это ему теперь ничего не стоит. Вот только бы выбрать время...

Но свободного времени в последние годы у него было все меньше и меньше. Он даже в отпуск ездил не каждый год. И каждый год он думал, что именно в это лето поедет в Сызрань. Ведь это же тут, под боком у Москвы...

Через две недели Волков наконец должен был поехать. Он уже подготовил себя к этой поездке, стал мечтать о скорой встрече с матерью, стал, как в детстве перед каникулами, считать дни. И вдруг принесли телеграмму: она умерла.

Волков в четвертый и в пятый раз перечитывал телеграмму. Но смысл оставался прежним. Она умерла. Умерла его мать, которая сорок лет назад родила сына, вынянчила, выкормила, вырастила его, как смогла. И вот теперь, когда сын ее стал известным человеком, директором крупного треста, она умерла, ни разу, быть может, не отдохнув как следует – ни разу за всю свою беспокойную, торопливую жизнь.

Большой, широкоплечий, седеющий мужчина сидел в кожаном кресле и плакал. Выражение лица у него было угрюмое, злое. Он злился на себя. Неужели за все время он не мог выбрать двух недель, чтобы съездить к матери? Неужели, наконец, нельзя было поручить кому-нибудь съездить к ней и привезти ее в Москву?

Можно было. Конечно же, можно было.

Волков злился и плакал. И рядом с ним плакала его жена. Она плакала, больше встревоженная печалью мужа, чем собственным чувством к свекрови, которой, как ни странно, ни разу не видела и потому не могла сказать о ней ничего плохого и ничего хорошего.

В комнате тикали часы. За окном цвела черемуха. У подъезда гудел автомобиль, ожидая директора треста.

Но директор не слышал его. Он сидел в кожаном кресле, опустив седеющую голову, и на какое-то время весь мир замер в его сознании. Жизнь остановилась.

Волков находился в горестном оцепенении. Потом встал, застегнул пальто и пошел в переднюю, чтобы надеть вторую калошу.

В передней он взглянул на себя в зеркало, увидел влажные следы от слез и покраснел, устыдившись. «Нервы», – как бы оправдываясь перед самим собой, подумал он.

И вышел на улицу.

В тресте ждали его на заседание. Но Волков сказал, что заседать сегодня не может.

– У меня умерла мать, – сказал он. – Я должен сейчас же поехать в Сызрань.

Заместитель директора поднял брови в знак удивления и сочувствия.

Через полчаса курьерша треста несла в редакцию траурное объявление, в котором дирекция, партком, местком и сотрудники выражали свое соболезнование директору треста товарищу Волкову Виктору Матвеевичу по случаю смерти его матери Екатерины Петровны.

А Волков в это время ехал на вокзал.

Время наконец нашлось. Волков наконец выбрал время, чтобы поехать в Сызрань. Он сидел в купе мягкого вагона и думал о предстоящей встрече с отцом. Он представлял себе в подробностях, как отец встретит его, улыбнется через силу, приподняв тяжелую верхнюю губу, сделает жалкое лицо, что никак не идет к его огромному росту. И сына заранее корбило от этих рабских, холуйских ужимок отца.

Виктор с детства привык стесняться его. В гимназии сын старался улизнуть куда-нибудь, спрятаться подальше, когда видел из окна, что в гимназию идет его отец. Сын стеснялся не того, что отец его швейцар, бедный человек, а того, что отец готов унижаться перед всяким, даже перед мелкой сошкой, лишь бы вымолить какую-нибудь льготу, пустяк какой-нибудь.

Все это видели, всем это было смешно, и гимназисты смеялись не только над отцом-швейцаром, но и над сыном.

Волков помнит, как однажды отец его увидел в дверях гимназии законоучителя, отца Григория Горизонтова, и, подойдя к нему под благословение, поцеловал при всех полу засаленной его рясой.

Этот поступок смутил даже отца Григория.

– Ну что ты! – сказал он. – Как можно...

– Так ученики встречали Христа, – сказал почтительно Волков-отец и приподнял по привычке верхнюю мясистую губу, что должно было означать улыбку. – Вы наш учитель, батюшка, благодетель...

Волков-сын после этого случая готов был удавиться.

В другой раз, когда, расшалившись во время перемены, он чуть не опрокинул кипарисовую тумбочку в коридоре, поп поймал его за руку и сказал сердито:

– У такого благочестивого, богобоязненного отца воспитываешься, а сам какой разбойник...

– Плохо ты воспитываешь своего сына, Матвей, – сказал законоучитель, когда отец снова явился в гимназию. – Озорует. Остолопом растет.

– Я укажу ему, – пообещал отец. – Вы только, батюшка, не оставляйте его вашей милостью. А я укажу ему...

И Виктору в тот же вечер была задана знатная порка.

Этой порки никогда не мог забыть не только гимназист, но и директор треста, хотя отец порол сына не однажды и, может быть, еще более сурово порол, чем в тот раз. Это была самая несправедливая порка, и забыть ее было трудно.

Волков снова вспомнил ее и снова возненавидел отца, как в детстве.

И ненависть, горячей струей подступившая к горлу, детская ненависть, неожиданно пробудившаяся в сердце взрослого, пожилого мужчины, на минуту потушила все иные чувства, заставила даже забыть о смерти матери, о горечи, связанной с ее смертью.

Виктор Матвеевич вдруг ощутил непривычную мальчишескую ярость в теле, стремительно встал, открыл окно и зашагал по купе, потом по коридору взад-вперед, нервно пощелкивая пальцами.

В вагоне было много пассажиров. По вагону ходил с совком и веником пожилой проводник, выгребая окурки из пепельниц. Но Волков не видел, не замечал никого, погруженный в воспоминания о детстве, о ранней юности, полной щемящих огорчений. Именно огорчения и обиды приходили ему сейчас на память раньше всего и воспаляли сердце с неожиданной силой.

Побродив по коридору, Волков опять залезал на верхнюю полку и подолгу лежал на спине без движения, вдавив голову в жиденькую подушку и упираясь ногами в стенку.

Ветер рвал занавеску и врывался в купе, шевеля газету на полке. Запахи талой земли, прошлогоднего листа и зеленеющей травы наполняли вагон.

И вместе с ними приходило успокоение, такое же неожиданное, необъяснимое, как внезапная вспышка ненависти, запоздалой и, пожалуй, смешной.

Волков переворачивался на бок, подложив ладонь под курчавую голову, и все думал, думал. Вагон качало, подбрасывало. И мысли шли такие же неровные, как качка вагона.

Виктор Матвеевич снова думал об отце, но уже не так непримиримо. Все-таки отец учил его. Швейцар, собирающий пятаки и гривенники, хотел сделать сына своего образованным. Добивался этого, как мог, как умел.

И порол-то он сына, может быть, потому, что хотел его сделать лучше, умнее. По-своему хотел ему счастья. Воспитывал его по-своему. Неужели теперь надо ненавидеть неграмотного, жалкого старика, сводить с ним старые счеты?

Виктор Матвеевич подумал, что старика сейчас, пожалуй, надо приласкать, надо сказать ему что-нибудь такое хорошее, подбодрить его надо, поддержать.

И неожиданно даже для себя, после горьких воспоминаний, после ненависти, разбуженной этими воспоминаниями, сын почувствовал нежность к отцу, пожалел его и, укачиваемый непрерывной дрожью вагона, заснул.

В Сызрань он приехал в конце дня.

Была хорошая, солнечная погода.

Пассажир взял маленький чемоданчик и, не торгуясь, сел в извозчичью пролетку.

Извозчик удивленно посмотрел на него. Потом хмыкнул, чмокнул, озабоченный. И косматая сонная лошаденка, вздрогнув, потянула облезлый экипаж.

Извозчик вез важного пассажира. Пассажир сидел на кожаной подушке, нагретой солнцем, и рассеянно смотрел по сторонам. Он въезжал в родной город, и смутное чувство радости, грусти и сожаления волновало его.

Оно волнует каждого входящего в город свой после стольких лет отсутствия. После странствий, увлечений, разочарований и побед.

Девушки, любившие нас, уехали, вышли замуж, постарели. Дома и заборы, на которых злоупотребляли мы грамотой, много раз сменили свою окраску. Выросли новые дома. Улицы, поросшие когда-то буйной травой, покрылись булыжником и асфальтом. Все изменилось как-то. И мы изменились.

Витька Волков, озорной швейцаров сын, стал директором треста. В этом нет, пожалуй, ничего удивительного. Это не удивляет и Волкова. Он привык. И все привыкли к этому.

Но только в родном городе, на знакомых улицах, где играли в детстве в чирика и в лапту, директор треста, сорокалетний человек, вдруг с особой силой почувствовал всю необычность и своеобразие собственной судьбы.

Сорок лет он прожил, как один день, без оглядки назад, без воспоминаний – все вперед и вперед. И только смерть матери задержала на мгновение стремительный бег его дней, заставила вспомнить прошлое.

Директор оглянулся на пройденный путь и удивился несказанно. Будто не он проделал этот путь.

– Извозчик, – сказал директор, строгий и нахмуренный, привыкший к быстрой езде, – что это она у тебя спит на ходу? А ну, подгони ее. А ну!..

– Сейчас, – с готовностью сказал извозчик и торопливо вытащил из-под сиденья кнут.

Лошаденка неожиданно перешла в галоп.

Экипаж со скрипом и грохотом въехал на пустынную улицу, заваленную трубами, цементом и бревнами.

В конце улицы, под железной крышей, освещенной солнцем, стоял маленький домик, как декорация. Окна в домике были открыты. Из окон доносилось церковное пение.

Извозчик сказал:

– Вот он самый и есть. Поют...

И кнутом показал на домик.

Волков вылез из пролетки, расплатился и пошел вдоль улицы. Церковное пение было неприятно ему. Он как-то не подумал раньше, что мать, наверное, будут хоронить по старому обычаю, с попом, и что ему, как сыну, придется стоять у гроба и выполнять безмолвно, из деликатности, весь этот чуждый ему теперь обряд.

Он прошел мимо домика.

Он надеялся, может быть, что обряд будет закончен до его прихода и он избежит неприятной встречи со священником.

Но в ту же минуту он подумал, что ходить так по улице неудобно, несолидно, что это мальчишество, и, вернувшись, остановился у окна отцовского домика.

В окно был виден синий дым от ладана и в дыму обеденный стол, на котором в гробу лежала покойница, окруженная горящими желтыми свечками, священник в подряснике и в епитрахили и десятка два людей, столпившихся у стола. Они молились, склонив головы.

Виктор Матвеевич смотрел на них в окно. И минуты две никто не замечал его.

Наконец Матвей Кузьмич, стоявший на коленях у гроба жены, поднял голову и увидел в окне незнакомого бритого мужчину. Мужчина был в галстук, в сером костюме, без шляпы. Матвей Кузьмич поднялся с колен и вышел на улицу.

Мгновение они молча смотрели друг на друга, отец и сын. Потом отец пошел навстречу сыну.

– Витенька, – сказал он очень тихо и, обняв сына, заплакал.

Виктор Матвеевич тоже обнял отца и растерянно гладил его по плечу. При этом он заметил, что отец меньше его, ниже ростом. И отец, большого роста человек, тоже вдруг почувствовал себя маленьким в объятиях сына, ничтожным, слабым.

Когда они вошли во двор, отец виноватым голосом спросил:

– Тебе, может быть, неловко, Витенька... а? Что я попа-то позвал?

– Ну что ж делать, – сказал сын и вошел в дом.

На него пахло сыростью, затхлостью, запахом кислых щей и ладана, от чего запершило в горле. Он прошел в большую комнату, где лежала покойница, поклонился всем и встал в сторонке, у окна.

Священник ходил вокруг гроба и размахивал кадилом. Из кадила выглядывали, как зубы, раскаленные угли и вырывался струйками синий дым. Он все больше и больше обволакивал комнату и поднимался к потолку. В дыму было трудно рассмотреть лица людей и лицо покойницы.

Виктор Матвеевич не сразу узнал отца Григория Горизонтова. А когда узнал, опустил глаза. И священник тоже заметно смутился, увидев коммуниста Волкова. Священник как будто стал торопиться, стал бормотать что-то невнятное и ходил вокруг гроба, должно быть, не так уверенно, как несколько минут назад.

Волков, однако, не обращал на него никакого внимания. Запах ладана, кислых щей и еще чего-то резкого, режущего нос, снова напомнил ему детство, и он стоял в сторонке, у окна, угрюмый, усталый, погружившись в далекие свои мысли.

Вокруг него шептались, показывали на него локтями и пальцами, подмигивали друг другу соседи. Но он ничего не слышал. Он не услышал даже, как окончилось богослужение. Отец Григорий Горизонтов подошел к нему.

– Доброе здоровье, Виктор Матвеевич!

Священник уже снял подрясник. В комнате было душно. Дым от ладана все еще плавал по комнате, уходя от раскрытых окон.

Виктор Матвеевич, запрокинув голову, развязывал галстук, расстегивал ворот рубашки, и рука, протянутая ему бывшим законоучителем, повисла в воздухе. Наконец Волков сказал:

– Здравствуйте!

В углу висела большая, почерневшая, старинного письма икона. У иконы горела, мерно покачиваясь, зеленая лампадка. И Волков смотрел не на священника, стоявшего перед ним, а на эту покачивающуюся лампадку.

Священник говорил:

– А вам, наверно, все это дико, что мы тут, так сказать...

Бывший законоучитель как будто оправдывался, извинялся. Волков посмотрел на его измятые, узенькие штанишки из чертовой кожи, на рыжие, заплатанные башмаки, потом на лицо, изжеванное, сморщенное, с потухшими глазами, с бородавкой на носу, и вспомнил, что в гимназии законоучителя гимназисты звали «носорогом».

Ничего, кроме бородавки, не осталось от этого когда-то грозного «носорога», пугавшего малодушных гимназистов даже видом своим.

В бывшем гимназисте он не вызывал больше ни вражды, ни ненависти. Но и жалости он тоже не вызывал. Волков смотрел на него угрюмо и равнодушно.

– Вы ведь не меня отпеваете, и не я вас пригласил, – сказал он усталым голосом. – Какое мне до этого дело!

И подошел ко гробу.

У него появилось желание выгнать из дома всех, всех и, оставшись в одиночестве у гроба матери, вот стоять так весь вечер и, может быть, всю ночь. «Мама, это я, твой Виктор. Я приехал к тебе, выбрал время. Мама...»

Виктор Матвеевич склонился над гробом и уронил седеющую русую голову на край оклеенной белой бумагой доски.

Люди, столпившиеся у гроба и в прихожей, поспешно и молча стали расходиться.

У гроба матери плакал сын. Плакал взрослый, пожилой, не сентиментальный человек, давно отвыкший от матери, сам ставший отцом. Плакал не только о матери, которую любил и с которой так и не встретился при жизни ее, но и о себе, о молодости своей, которой не вернуть, о детстве.

А на дворе сгущались сумерки.

Однорогая коза ходила по двору и ждала еды. Некормленные куры уселись на насест, но сон, должно быть, не шел к ним.

Маленькая, худенькая старушка лежала в гробу, и порядок в доме был нарушен. Муж и сын ее были выбиты из колеи.

На дворе сгущались сумерки. В сумерках таинственно мерцала зеленая лампадка. В масле плавал беленький огонек, и вокруг него летали две бабочки и огромный майский жук, шумевший, как самолет.

Шум этот разбудил задремавшего у гроба высокого, сутулого старика. Он встал, вытер ладонью слезы, застывшие в морщинах, и пошел во двор.

Однорогая коза приблизилась к нему, прижалась к его коленям. Он потрепал ее ласково, потом, согнувшись, вытащил из-под крыльца узкую кормушку, насыпал в нее корму и снова вошел в дом.

В доме по-прежнему было тихо, и только жук ревел оглушительно и шелестели крылья бабочек, круживших у огонька лампы.

Старик разжег огонь на кухне, поставил самовар и сел на табурет, склонив голову к коленям.

У него умерла жена. Он прожил с ней больше полувека, пятьдесят с лишним лет. И вот она умерла. И вместе с ней он потерял какую-то долю себя самого. Да, это именно так. Он стал слабее после смерти ее. Хотя не она поддерживала его, а он ее поддерживал. Всегда, во всем.

Во всяком случае, он сам так чувствовал. Он знал, что она слабее его, беззащитнее. Защищал ее. Постоянно чувствовал превосходство над ней. И вот ее нет. И не над кем чувствовать ему превосходство, некого защищать. Жизнь прожита. Заново ее не начнешь.

Все кончилось.

В кухне жалобно пел самовар. Угли, сторованные, шуршали, рассыпаясь. Вода медленно закипала в самоваре. Было тихо-тихо.

И вдруг самовар зафыркал. Он зафыркал так же громко, с той же веселой яростью, как фыркал при хозяйке. Как будто ничего не случилось.

Матвей Кузьмич поспешно встал, заварил чай. Чайник поставил на самовар. Несколько привычных движений, легкое возбуждение. И снова слабость какая-то, отчаяние, туман.

– Витя, – сказал он печально. – Витя! Чай пить...

В кухне стоял голый, некрашенный стол, чисто выскобленный и промытый еще руками хозяйки, лежавшей сейчас в гробу.

И они пили чай за этим кухонным столом, отец и сын.

Это были, в сущности, разные люди, разных вкусов, разных привычек, разных взглядов на жизнь. Их свело здесь общее горе. Свело на несколько часов или дней.

А послезавтра или дня через два они снова расстанутся и не встретятся, может быть, никогда. Очень возможно, что никогда.

Первым об этом подумал сын. Потом эта же мысль пришла отцу. И отец сказал:

– Вот, значит, Витя... Я один остался... Как же я теперь буду жить один?..

На столе стояла лампа. Желтый свет ее разделял отца и сына. Щурясь от света, сын зачем-то спросил:

– Тебе лет-то сколько теперь?

– Мне? Семьдесят шестой...

– Порядочно, – сказал сын и задумался. После раздумья он сказал: – Ну что ж, поедem в Москву.

Виктору Матвеевичу жаль было отца. Он хотел как-нибудь приласкать его. Однако он знал, что отец ни за что не оставит этот домик – мечту своей жизни, огородик, однорогую козу и этих кур, загадивших весь дворик. Но отец неожиданно сказал:

– Хорошо бы... Повидать, какая она есть. Сроду не видал.

На лбу у него выступили крупные капли пота. Он стер их ладонью, отбросил длинные, плоские волосы, падавшие на лоб, и... может быть, кощунственно сказать, что он повеселел, но он повеселел действительно.

В неверном свете лампы показалось даже, что он улыбнулся радостно. Или это отблеск лампы заиграл на мгновение в его глазах?

– А домик как же ты оставишь?

– Продать можно. У меня тут есть одни люди. Давали, да мало. Я сам за него тыщу семьсот в шестнадцатом году отдал. Да пристройки делал, да огород...

– Ну вот, – сказал сын, не слушая длинных, отцовских рассуждений, – если успеешь собраться, пока я здесь, поедem вместе. А не успеешь – я жену попрошу приехать за тобой...

– Я успею, Витенька, – сказал отец поспешно. – Чего же мне тут такое собираться? Конечно, успею. Ты меня денька два подожди, я все обтяпаю...

– Денька два, – сказал сын, – подожду.

И отодвинул пустой стакан на середину стола.

– Еще стаканчик! – предложил отец и поспешно поставил пустой стакан под самоварный кран. – Чай – он хорошо душу греет...

Но сын уже закурил и вышел из-за стола.

Хоронили мать торжественно, со всей пышностью, на какую был способен Матвей Кузьмич.

День был солнечный. Солнце вспыхивало и горело в посеребренных вышивках серой ризы отца Григория Горизонтова. Пели певчие. И две лошади в белых пополах, в белых стареньких султанах, запряженные в белый ветхий катафалк, шли медлительно впереди толпы.

Виктор Матвеевич шагал по тротуару. Этим самым он как бы подчеркивал свою непричастность к этой процессии. И сам же осуждал себя за это.

«Уж лучше бы совсем не идти», – думал он. Но все-таки заставить себя идти рядом с попом не мог. И шел по тротуару.

Вскоре и Матвей Кузьмич, шагавший за гробом, отделился от процессии и пошел рядом с сыном.

Мать везли на кладбище чужие люди, поп и певчие, десятка два старух и стариков.

А отец и сын шли по тротуару.

У сына на этот счет были свои соображения, а отец просто подражал ему. Сын сейчас для него был самым авторитетным человеком. И, шагая рядом с сыном, отец спросил:

– Витенька, ты не знаешь, водку-то на поминках надо подавать?

– Я не знаю, какой порядок, – серьезно ответил сын. – Если принято, надо подавать. Надо, чтобы все было по-хорошему, как следует. И главное – скупиться не надо!

Но на поминках сын не присутствовал.

После похорон он весь день бродил по городу и вернулся домой только вечером, когда поминки уже закончились.

На кухне, при лампе, мыли посуду две женщины, и отец помогал им.
Виктор Матвеевич неслышно прошел в комнату, разделся и лег спать.
Дни стояли не по-весеннему жаркие, томительные.

На другой день после похорон сын проснулся очень рано и до завтрака пошел купаться на Волгу.

Волга была такая же, какой он знал ее в детстве. И берег был такой же. Трава, песок, камни.

Виктору Матвеевичу здесь были известны все глубокие и мелкие места. Он разделся, погладил грудь, бедра. Потом забрался на бревенчатый помост, приспособленный, вероятно, для полоскания белья, и спрыгнул в воду. Вода вскипела вокруг него.

Волков вынырнул и, далеко выбрасывая сильные руки, поплыл на середину реки. Он плавал так же хорошо и неумоимо, как в детстве, как в ранней молодости. И с берега так же, как в детстве, смотрели на него мальчишки, может быть, сыновья тех мальчишек, которые купались с ним в детстве.

Волков вышел из реки и, одеваясь, стал разговаривать с ребятами. Он спрашивал, как их фамилии, как звать их отцов, матерей. И удивлялся, услышав знакомые фамилии, знакомые имена. «Вон что, – думал он, разглядывая веснушчатого мальчишку, – это, значит, Васьки Пахомова сын. И лоб такой, как у отца».

За этот лоб Ваську Пахомова дразнили «тыквой». А Витьку Волкова?.. Позвольте, как же дразнили Витьку Волкова? Ах, да! «Волком». Так просто и дразнили.

Виктор Матвеевич вдруг вспомнил, как он подрался однажды в детстве с Васькой Пахомовым. Вспомнились все подробности драки. Овраг, поросший крапивой, холодный ручей на дне оврага. Забылась только причина драки.

– А отец твой где? – спросил он у мальчика Пахомова.

– Как где? – удивился мальчик. – На базе.

– На какой базе?

– Ну, на базе... на овощной...

И мальчик сурово, осуждающе посмотрел на взрослого дядю, который не знает, что в городе есть база, овощная база!..

Виктор Матвеевич понял этот взгляд, улыбнулся и стал неторопливо одеваться.

До города надо было идти по песчаной дороге. Ноги вязли в песке, и нагретый солнцем горячий песок, попадая в сандалии, обутые на босую ногу, чем-то тоже напоминал детство, рыбную ловлю в детстве и покойную мать. Было грустно, и в то же время приятно было идти по этой горячей дороге.

Незаметно Волков дошел до города и побрел по тихим улицам. На одной улице прочел вывеску: «Почта и телеграф». Зашел.

Веселая курчавая девица выдала ему четыре телеграммы из Москвы. Директор треста прочел их и сейчас же, нахмурившись, написал четыре ответа.

Лирическое настроение его моментально прошло.

В Москве, в тресте, дела шли не блестяще – провалилась важная смета. И Волков не мог больше думать о старых своих друзьях, о детстве, о приятных прогулках по Сызрани. Он думал о Москве. И все больше и больше мрачнел.

Хмурый, он вышел из здания почты и пошел домой.

Матвей Кузьмич в длинной, выцветшей рубашке без пояса возился на дворе. Руки его были вымазаны в саже, лицо раскраснелось от напряжения. Увидев сына, он закричал:

– Завтракать, Витенька! Чай пить! Я тебя уже давно жду.

Здесь же, во дворе, у самодельного умывальника, прибитого к столбу, он вымыл руки, расстелил холстинную скатерть на столе под единственным чахлым кустиком, во дворе же моментально подогрел самовар, и они сели пить чай.

Матвей Кузьмич говорил:

– Вот видишь, Витенька, у меня тут как на даче. Я хотел еще пару кустиков посадить. Да и цветов бы еще надо. Но все некогда было, мамаша болела. Эти вон цветочки она сама посадила.

И он показал рукой на крошечную клумбу, окруженную побеленными кирпичами и защищенную от козы и кур провололочным заграждением.

Виктору Матвеевичу показалось, что отец раздумал ехать, тем более что настроение у старика было уже не такое унылое, как два дня назад. Он выглядел возбужденным и как-то особенно любовался своим хозяйством.

Сын сказал:

– Ты знаешь, папа, мне уже ехать надо. Меня в Москве ждут. Ты как, собираешься?

– А как же, Витенька! Я уже домик почти продал. Я вот хотел только с тобой посоветоваться...

Виктор Матвеевич не смог дать совета.

Но Матвей Кузьмич как будто и не нуждался в этом. Он все, что надо было ему, уже сделал и советовался с сыном только для «законности», как он любил говорить.

– За домик я теперь не беспокоюсь, – сказал он. – Покупатель у меня хороший, надежный. Помнишь, на похороны приходил старичок, рыженький? Пузырев ему фамилия. Андрей Андреич. Вот он и покупает. Сегодня пойдем с ним уделывать все дело по закону. Мебель я тоже продал Вавилону. Он уже деньги отдал. Теперь бы мне еще козочку продать и курей. Куда, для чего я их повезу?

В сенях сын увидел запакованные тючки, мешки, набитые, чем-то. Видимо, отец торопился.

Виктор Матвеевич прошел в комнату, открыл свой чемодан и, вынув из него портфель, сел к столу. На том самом столе, где лежала еще вчера его мать-покойница, он разложил бумаги, повесил на спинку стула пиджак и начал писать.

За стеной возился отец. Он отдирал что-то клещами и кряхтел.

Виктор Матвеевич встал из-за стола и пошел помочь ему.

– Ну-ка, папа, дай я попробую!

– Не надо, ничего не надо! – почти закричал на него отец. – Я тут сам. Занимайся своими делами, Витенька! Я вот полочку хочу отодрать. Жалко все-таки отдавать чужим людям.

Виктор Матвеевич ушел и опять занялся бумагами. Отец продолжал возиться за стеной. Он отдирал полку, что-то передвигал. Потом кто-то позвал его со двора, и он вышел.

На дворе его ждали покупатели. Он показал им козу, кур и двух кроликов. Покупательница, высокая старуха с сердитым лицом, трогала козу за вымя и, потрогав, брезгливо поджи-мала губы.

Все это Виктор Матвеевич видел в окно. Он видел, как покупатели подошли к его окну и сели на лавочку, чтобы поторговаться.

– А это кто же у вас в дому-то? – спросила старуха отца. – Квартирант?

– Зачем... – сказал отец. – Это сын мой, из Москвы. Вот я к нему и еду. Приглашает.

– Он что ж, на службе там, что ли?

– Директор, – сказал отец почему-то шепотом. – Директор треста, конторы...

Виктор Матвеевич, услышав это, улыбнулся.

Однорогую козу увела старуха. Кроликов и кур, усадив в бельевую корзину, унес молодой человек в майке. Потом во двор вкатилась двухколесная тележка, и два парня стали укладывать на нее купленную мебель.

Матвей Кузьмич вошел в комнату, где сидел сын, и сказал:

– Я этот столик, Витенька, тоже продал. Все продал. Продав все, что наживал... – И в голосе его послышались слезы.

– Быстро ты, – сказал Виктор Матвеевич и, собрав свои бумаги в портфель, встал.

Два здоровых парня подхватили стол и понесли к дверям.

Дом, обжитой, любовно оклеенный пестрыми обоями, фотографиями знакомых и незнакомых людей, олеографиями битв и курортных видов, обставленный небогатой, но любимой мебелью, сейчас лишенный всего этого, лишенный полочек и этажерок, фарфоровых петушков и глиняных зайчиков, возвышавшихся на подоконниках, цветочных вазонов, икон и занавесок, выглядел жалким и чужим.

На полу валялись смятые бумажки, рваные подметки от давно изношенных ботинок, яичная скорлупа, сушившаяся для того, чтобы кормить ею кур.

Матвей Кузьмич ходил среди этого мусора и вздыхал.

В сенях стояли два окованных жестью сундука. Он складывал в них свою одежду, обувь и даже ведра, кастрюли и сковородки. Он замыкал это все тяжелыми висячими замками.

Он уезжал отсюда, где страшно было оставаться одному, чтобы жить на новом месте так же самостоятельно и хозяйственно. Он умирать не собирался. Он собирался жить.

Через день отец и сын уже ехали в поезде. Отец был в сапогах, начищенных до блеска, в черном длинном пиджаке и в такой же черной суконной фуражке с суконным козырьком. Сын был в шляпе, в сером фланелевом костюме и в широконосых американских штиблетах.

Они ехали в мягком вагоне. Сын лежал на верхней полке, отец – на нижней. И изредка они разговаривали. Сын односложно отвечал на вопросы отца и больше молчал, занятый своими мыслями.

А отец, неожиданно забыв все горести, радовался, как мальчик, и тому, что едут они, и тому, что вагон мягкий, и тому, что на станциях продают всевозможные харчи по недорогой цене. И всячески хотел угодить сыну.

– Витя, – кричал он, – жареных поросят продают! Купим?

– Купи, – говорил равнодушным голосом сын и протягивал ему десять рублей.

– Да не надо... Господи... – говорил отец. – У меня своих дай Бог всякому!

И охотно объяснял соседям по вагону:

– В Сызрани домик продал. Еду вот сейчас в Москву. К сыну еду, собственно говоря...

В голосе его звучала гордость.

Обычно молчаливый, на старости лет он внезапно стал словоохотливым до смешного. И это произошло с ним в вагоне. Он лез теперь к людям с разговорами и, о чем бы речь ни заходила, все сводил к сыну, директору треста, и к собственному домику в Сызрани. О жене-покойнице он как будто и не думал.

Виктор смотрел на него и не узнавал отца. «Что случилось со стариком? Уж не рехнулся ли он?»

На одной большой станции они вместе вышли из вагона, чтобы погулять по перрону. И опять отец говорил, а сын молчал.

– Витя, – говорил отец, – ты бы взял к себе мои деньжонки-то. Все-таки они тебе нужнее. Дашь мне там какую-нибудь тройку. Мне по-стариковски хорошо будет. Куда мне...

Это тоже было не похоже на отца. Прижимистый человек, он никогда не проявлял подобного великодушия и, казалось, не способен был на это, а тут вдруг расчувствовался.

– Ты положи их на книжку, – посоветовал сын. – Когда надо, будешь брать.

– А для чего мне они? – сказал отец. – Ну, для чего?

Виктор Матвеевич молча прошелся по перрону. Потом сказал некстати:

– Ты смотри, пиджак-то как испачкал! Где это ты так?

Они снова вошли в вагон.

И ехали дальше как малознакомые пассажиры. Отец обиделся на сына. А сыну вообще не хотелось разговаривать. Не хотелось разрушать какое-то странное, почти торжественное настроение. Все разговоры отца, его вопросы, замечания казались мелкими, нелепыми, не стоящими внимания по сравнению с тем, что произошло в эти дни.

Виктор Матвеевич то возвращался мысленно ко гробу матери, то вспоминал ее молодой и себя ребенком, то начинал тревожно думать о делах в тресте, о срочных и важных делах, которые надо было улаживать, решать немедленно.

Мысли о матери мешали думать о трестовских делах, а неотложные, всегда неотложные трестовские дела не позволяли погрузиться целиком в область воспоминаний.

И в этом разномыслии, разночувствовании лежал источник глухого раздражения, которое трудно было, невозможно было подавить.

Виктор Матвеевич нервничал.

А Матвей Кузьмич облюбовал какого-то нового собеседника – старичка, пил с ним чай и пространно рассказывал, какой у него был замечательный домик в городе Сызрани.

– ...Почти у самой Волги. Может, бывали? Может, слышали?

Виктор Матвеевич лежал на верхней полке, и голос отца, идущий снизу, невольно проникал в его уши и раздражал его еще более. Казалось, что отец нарочно ведет эти разговоры, желая подчеркнуть свою независимость от смерти жены и свое равнодушие к этой смерти. Сын возмущался. Но молчал.

В Москву они приехали вечером.

На вокзал им подали автомобиль. Виктор Матвеевич сел рядом с шофером. Матвей Кузьмич уселся позади. Опять его охватило радостное волнение. Он зачем-то ощупал руками плюшевый коврик в ногах, потрогал блестящую ручку дверцы и, огладив пиджак, сделав строгое лицо, откинулся на кожаную спинку.

В таком состоянии он пробыл минуты две. Потом привстал, протянул руку, потрогал сына за плечо и спросил:

– Это что же, Витенька, машина-то у тебя своя али казенная?

– Казенная, – сухо сказал сын.

Шофер улыбнулся. И, заметив эту улыбку, сын сконфузился.

– Еще вопросы будут? – спросил он насмешливо.

Но отец смотрел в окно и молчал.

На улицах было светло, как в театре. Народу было много, как на демонстрации.

«Это куда же я еду, Господи? – думал старик. – Шум-то какой, грохот...»

Наконец автомобиль остановился около большого дома.

Виктор Матвеевич ловко выпрыгнул из шоферской кабины и открыл вторую дверцу, чтобы помочь выйти отцу.

Матвею Кузьмичу было жаль, что путешествие уже окончилось. Он вылез из машины и, смотря себе под ноги, пошел к двери.

Из дому навстречу ему вышли невестка и внучка. Они встретили старика приветливо. Помогли ему раздеться в передней. Потом повели его по комнатам, показывали квартиру.

Нинка вытащила из клетки белую крысу и продемонстрировала дедушке ее выучку.

Дедушка вначале хотел плюнуть и сказать, что это глупость – держать в квартире такую гадость, как крысу, хотя бы и белую, – но ничего не сказал и даже погладил крысу. Золотых рыбок он одобрил, сказал: «Хороши, каналы!» Белка и синичка ему тоже понравились. Ему понравилась вся квартира – большая, уютная, обставленная хорошей мебелью.

Он заглянул и в уборную, и в ванную комнату, и на кухню, где сидела в чистом переднике среди сверкающих кастрюль пожилая домработница Ольга Михайловна. Он поздоровался с ней, сказал задумчиво:

– Аккуратность – это в первую голову. Без этого нельзя. А как же! Человек на такой работе...

Потом ему согрели ванну. Он выкупался, освежился, разгладил крупным гребнем пышную бороду и пошел в столовую пить чай.

За чаем сын вспомнил о покойной матери. Матвей Кузьмич большим пальцем смахнул слезу.

– Поглядела бы покойница, – сказал он. – Это же как в доме отдыха в Крыму! Хотя я, конечно, в Крыму еще не был...

Пил он чай с блюдца, поставив его на широкую ладонь, прикусывал сахар. Блаженствовал.

Хорошо было ему, потеряв семью, вновь обрести ее.

Над столом висела большая пестрая люстра, и свет, нежный, сиреневый, озарял всю комнату.

– Хорошо у вас, – сказал Матвей Кузьмич. – Тихо. Как будто и не в Москве.

После чая он подошел к сыну, сказал негромко:

– Возьми ты, Витенька, мои деньги к себе. Пусть они будут твои. Я уж у вас так и останусь. Буду жить как свой.

– Да живи ты, пожалуйста, на здоровье, – сказал сын и улыбнулся. – Не надо мне никаких денег. Зачем они мне?

– Все-таки, – сказал отец. – В хозяйстве...

Вошла Татьяна Федоровна и сообщила, что постель папаше приготовлена, можно, если он хочет, отдыхать.

Матвей Кузьмич прошел в свою комнату. Она была небольшая, но уютная. Кровать, столик, этажерка.

Матвей Кузьмич достал из чемодана иконку, хотел повесить в уголок, но сейчас же раздумал. Неудобно: сын партийный, в Бога не верует, невестка тоже, наверно, такая... Матвей Кузьмич поставил образок на стул, встал на колени, помолился и снова спрятал его в чемодан.

Уснуть он долго не мог. Ворочался. Кряхтел. Думал. Удивлялся. Ожидал ли он когда-нибудь, что судьба занесет его на старости лет в Москву? Никогда не ожидал.

И вот довелось. Занесла судьба. Он живет в Москве. Москва шумит за его окнами. Звенят последние, ночные трамваи.

Матвей Кузьмич потушил свет и долго смотрел в окно. Потом усталость сморила его. Он лег на спину и мгновенно уснул.

Проснулся он чуть свет. Все еще спали. Матвей Кузьмич умылся, причесался и на цыпочках потихоньку вышел на улицу.

Дворник, вытягивая длинную резиновую кишку, поливал асфальт. Матвей Кузьмич поздоровался с дворником, присел на лавочку.

Ни цветов, ни деревьев вокруг не было. Дворник поливал голый асфальт.

– Это зачем же, – спросил удивленно Матвей Кузьмич, – поливаете-то?

– Исключительно для гигиены, – с достоинством ответил дворник. – Пыль же ужасная. Это для здоровья нехорошо.

Помолчал, сколько надо, и спросил:

– А вы откуда?

– Из Сызрани я...

– А-а... Не поливают у вас?

– Нет.

– По-настоящему-то, – сказал философически дворник, зажимая пальцем рвущуюся струю, – и здесь поливать не надо. Это лишняя, как бы сказать, морока. Но велят. Что сделаешь?

– А кто велит-то?

– Милиция. Раньше-то тоже не поливали...

– Не поливали? – как бы удивился Матвей Кузьмич.

И они разговорились.

Дворник сообщил, какую зарплату он получает, сколько у него семьи, где учатся дети и как учатся.

Матвей Кузьмич рассказал, что он приехал к сыну, что сын его директор треста.

– Это что же, товарищ Волков, что ли, ваш сынок будет? – почтительно спросил дворник. – Виктор Матвеевич?

– Он самый, – подтвердил Матвей Кузьмич.

– Ну как же, знаю, – сказал дворник. – Уважительный человек. Завсегда шапку первые сымут. Здравствуй, мол, дядя Левонтий... Видать, человек не гордый, несмотря, что такую самостоятельную должность занимают...

– С детства приученный, – заметил Матвей Кузьмич. – Это многое значит.

– Ну как же! – сказал дворник. Он завернул вентиль, намотал на руку резиновую кишку и сказал как бы небрежно, к слову: – У меня тоже дочка медик. Я это сам вижу на факте. Собственными глазами.

Матвей Кузьмич сказал:

– У многих теперь дети, слава Богу, ничего. Я одного мужика знаю, так у него сын теперь командующий войсками.

– Ничего удивительного нету, – сказал дворник.

Положив кишку на тротуар, он подошел к лавочке и сел рядом с Матвеем Кузьмичом.

Матвей Кузьмич вынул папиросы.

– Закуривайте.

Они закурили и продолжали разговаривать о разных делах. О детях, о погоде, о жизни. Потом в первом этаже открылась форточка, и Матвей Кузьмич услышал голос Нинки:

– Дедушка, чай пить!

– Сейчас я, сейчас, – сказал Матвей Кузьмич и подмигнул дворнику. – Зовут...

После завтрака Виктор Матвеевич сейчас же уехал в трест. Татьяна Федоровна ушла на дежурство к себе в клинику.

Дома остались Ольга Михайловна и Нинка.

Матвей Кузьмич разговаривал с ними.

Потом и Нинка ушла.

– На сбор, – сказала она важно.

Ольга Михайловна стала готовить обед.

Матвей Кузьмич зашел к ней на кухню. Он рассказал ей про Сызрань. Она слушала его. Но через каждые две минуты, как нарочно, говорила:

– Пересядьте, пожалуйста, вот сюда. Мне эта табуретка нужна.

Матвей Кузьмич покорно пересаживался и продолжал рассказывать. Он говорил:

– Вот посмотрите, я не сегодня завтра получу багаж. Какие у меня там вещи! Весь, например, кухонный набор, ведра там, кастрюли...

– Посмотрим, посмотрим, – скороговоркой говорила Ольга Михайловна. – Увидим.

Она спешила. Он ей мешал. Наконец он это понял и вышел из кухни. Делать ему было нечего. Он придумывал себе дела. И не мог придумать.

В Сызрани у него была служба. Он не бросал ее, несмотря на то что давно уже получал пенсию. Было у него свое хозяйство – коза, куры, кролики. А здесь у него ничего не было.

Побродив по квартире, он вышел на улицу.

Знакомый дворник куда-то ушел. Матвей Кузьмич хотел пройтись по Москве. Но грохочущие трамваи, вереницы автомобилей напугали его с непривычки, и он вернулся домой. Зашел к себе в комнату, прилег и заснул.

Разбудила его Нинка. Она пришла из школы, веселая, озорная.

– Дедушка, – кричала она, – обедать! – И тянула его за ногу.

После обеда сын вызвал автомобиль и пригласил отца кататься.

– Покажу тебе Москву, – сказал он.

В машине они сидели рядом. Виктор Матвеевич просил шофера останавливаться в наиболее интересных местах. Отец и сын выходили из автомобиля и осматривали достопримечательности.

– Это аэропорт, – говорил сын. – Вот отсюда самолеты улетают в разные стороны...

И они видели пролетающий самолет.

Потом сын показывал отцу Москву-реку, парк культуры и отдыха, кремлевские стены и Красную площадь.

Были они и в планетарии. Матвей Кузьмич долго и внимательно смотрел на звезды, на луну, удивлялся, ахал и вдруг озабоченно сказал:

– Витя, а пенсия-то как же у меня, пропадает, раз я уехал из Сызрани?

Виктор Матвеевич был удивлен таким внезапным вопросом и даже немного обижен, но все-таки сказал спокойно:

– Документы ведь у тебя все в порядке? Дай их Тане, она тебе все устроит. Будешь и в Москве получать пенсию...

– А звезды-то какие, Господи! – сказал Матвей Кузьмич. И снова заинтересовался космосом.

Утром на следующий день старик опять проснулся раньше всех. Умылся, оделся. Прошел на цыпочках в спальню сына. Взял его костюм, штиблеты, платье и туфли невестки. Проходя через детскую, захватил ботинки внучки.

Все это вынес на лестницу и принялся чистить.

В несколько минут он вычистил всю одежду и обувь и так же на цыпочках внес их в спальню.

Все еще спали. Проснувшись, все были удивлены. Потом Виктор Матвеевич вдруг покраснел и рассердился.

– Что за холуйство! – закричал он. – Кто тебя просит это делать?

– А как же, Витенька! – смиренно сказал отец. – Помнишь, когда ты гимназистом был, я всегда тебе всю форму чистил. Или я, или мама.

– Это другое было дело, – сказал сын уже спокойно. – А теперь этого не надо делать, папа. Я сам могу себе почистить и костюм, и ботинки. Ты, пожалуйста, не трогай их.

Завтрак прошел в молчании.

Опять Виктор Матвеевич сейчас же уехал в трест, а Татьяна Федоровна ушла в клинику. Опять дома остались только Матвей Кузьмич, Ольга Михайловна и Нинка.

Нинка возилась с белой крысой.

У клетки сломалась дверца. Матвей Кузьмич наладил ее. Потом он предложил сделать для крысы маленькую лестницу, по которой она могла бы взбираться. И сделал.

Нинке очень понравилась эта лестница. Она спросила, не может ли дедушка сделать такую же лестницу и для белки. Пусть белка учится залезать в свою башенку по лесенке.

Дедушка сказал, что не только лестницу, но и новый домик он может сделать. И он стал делать вторую лестницу и домик с помощью остро наточенного сапожного ножа.

Незаметно подошло время обеда.

После обеда Виктор Матвеевич опять уехал в трест. Татьяна Федоровна еще не возвращалась с работы.

Матвей Кузьмич продолжал строить домик для белки. Он сколотил его маленькими гвоздиками, выкрасил чернилами и поставил сушить на подоконник. Сам прилег отдохнуть.

Нинка разбудила его к вечернему чаю.

Вся семья была в сборе. Нинка показывала сделанный дедушкой домик. Дедушка довольно улыбался.

И так прошел день.

Впрочем, и следующий день прошел почти так же. Матвей Кузьмич скучал в одиночестве и со скуки искал себе какое-нибудь дело.

Но подходящего дела не было. Матвей Кузьмич бродил около дома, разговаривал с дворником, заходил в булочную. Времени, однако, оставалось еще очень много.

И некуда было девать его.

У швейцара на службе не всегда бывает работа. Приходится иногда часами сидеть и скучать. И Матвей Кузьмич, бывало, сидел так. Но это же на службе. На службе и бездельничаете когда, это не так заметно.

А без службы очень плохо. «Получается какой-то неприкаянный человек, – думал Матвей Кузьмич. – Вроде лодыря. Ни хозяйства у него, ни гнезда. Небокопнитель».

Матвей Кузьмич ждал все-таки, что вот придет его багаж, и будет какое-то дело.

Наконец багаж прибыл. Три сундука, обитых жостью, с тяжелыми висячими замками. Матвей Кузьмич затащил их утром, после завтрака, к себе в комнату и принялся распаковывать.

Нинка прыгала вокруг него, счастливая.

Дедушка подарил ей фарфорового петушка и глиняного зайца. Заяц был засижен мухами. Дедушка тщательно вытер его полкой своего пиджака и, передав внучке, сказал:

– Храни. Это тебе все равно что привет от бабушки.

Потом он позвал к себе в комнату Ольгу Михайловну и стал показывать ей посуду и кухонный инвентарь.

– Вот, глядите-ка, – говорил он ей, улыбаясь, – какое имущество. Могу второй раз свободно жениться. Ничего не надо заводить, все есть.

Ольга Михайловна, украинка, веселая и насмешливая, вынула из сундука два ведра, подняла их и сказала, смеясь:

– Ой, какие страшные! Это кого ж с них поить?

Матвей Кузьмич обиделся. Но обиды своей никак не выразил. Однако он понял, что посуду и инвентарь вынимать из сундуков не стоит.

Интерес к распаковыванию багажа у него внезапно пропал. Он повозился еще с полчаса у раскрытых сундуков и снова замкнул их. И теперь ему стало по-настоящему скучно.

Все последующие дни он ходил угрюмый. И даже прихворнул немножко. Колотья какие-то начались в пояснице. Но скоро и колотья прекратились. А он все себя чувствовал нехорошо.

Не радовала его теперь и эта хорошая, уютная квартира, и нежная привязанность к нему Нинки. Ничто его не радовало. Он ходил мрачный.

Багаж его так и стоял нераспакованный. И заметно было, что Матвей Кузьмич как будто боится прикасаться к нему, ворошить прошлое, вынимать из ящиков все эти ведра, чашки, кастрюли. Зачем они ему, если жизнь его подходит к концу, если жены у него нет и нет даже своего, самим сколоченного гнезда?

Представление о своем гнезде у него всегда было ясное и по-старинному определенное, и теперь ему было так же ясно, что нового гнезда не создать. Вот кабы лет ему было поменьше, он, пожалуй, опять женился бы, завел бы хозяйство, стал бы хозяином...

В бессонные ночи он вспоминал теперь жену-покойницу и тайно плакал. Хорошая все-таки была женщина, тихая, послушная. Не было, наверное, на свете женщины любезнее ее. И, вспоминая жену-покойницу, Матвей Кузьмич осуждал теперь себя за излишнюю суровость характера. «Заездил старушку, – думал он, сердясь на себя. – А как бы хорошо могли жить! Деньжонки у меня есть. Я еще бы работал...»

Впрочем, ведь и сейчас он может работать.

Эта простая мысль ободрила его. Действительно, хорошо бы поступить на работу. Все-таки на людях. Не хуже людей... Как это он раньше не подумал, что можно служить и в Москве?.. Все служат. Ну что ж, что семьдесят шестой год. В Сызрани-то он ведь служил...

И Матвей Кузьмич стал упорно думать о поступлении на службу. Хоть куда-нибудь бы поступить. Хоть, допустим, в сторожа.

Но поступить было некуда. Никого он не знал в этом городе. Да и ходить по городу он все еще боялся.

Правда, он уже два раза проехал самостоятельно на метро, ездил и в трамваях. Но все еще с опаской. Боялся заблудиться. И особенно боялся попасть под трамвай или под автомобиль.

Хорошо бы поговорить с сыном, попросить его пристроить куда-нибудь старика. Однако неудобно. Разве есть у сына время заниматься такими пустяками? Работает человек с утра до ночи. И ночью работает. Да и рассердится он, пожалуй, если полезешь к нему с такими пустяками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.